

Юрий Нагибин
КВАСНИК
И БУЖЕНИНОВА

Повесть







Известно, что от мелких причин бывают грозные последствия: птичка чиркнула крылом по снегу — и лавина устремилась с горы, круша все на своем пути. А бывает, когда маленькая жизнь скромного бытового человека направляется и ломается историческими событиями, к коим он ни сном, ни духом не причастен.

Внук знаменитого временщика и полюбовника царевны Софьи, князя Василия Голицына, Миша увидел свет в затерянной посреди архангельского безлюдья деревне Кологоры, куда его опальный дед со всем семейством был сослан царем Петром. Поначалу Голицына сослали не столь далеко, в городок Каргополь, но едва он туда прибыл, власти одумались и отправили дальше — в Яренск, забытую богом зырянскую деревушку, но и здесь князь не задержался: извет Шакловитого о тайных сношениях его с Софьей, заключенной в монастырь, еще более отягчил судьбу изгнанника и привел на край света — в Волоко-Пинежскую волость.

Отец Миши Алексей Васильевич быстро извелся в нужде, пустоте и мраке полунощного края и отдал душу богу; мальчика воспитал дед, явивший неожиданную в баловне счастья стойкость духа и телесную выносливость. Человек для своего времени весьма сведущий в науках, передовой по мировоззрению, он отменил местничество и одним из первых взгляделся в Европу, но не узнал в юном Петре государя, за которым следовало пойти, как и Петр не угадал сподвижника в Софьином фаворите — Василий Васильевич дал любимому внуку образование, какого тот не получил бы и в Славяно-греко-латинской академии, куда, впрочем, княжичей и не отдавали. Он обучил смышленного мальчика не только грамоте, счету, истории, гео-

графии, закону божьему, но и древним языкам, коими владел свободно, а также начаткам немецкого и французского, уловленным на слух в Кукуе, где охотно бывал.

Потеряв сына, князь Василий всей любовью, страхом и надеждой сосредоточился на внуке Мише. Но сильное чувство не мешало прозорливости. Мальчик нравился ему смышленостью, ровным характером, легкостью, с какой переносил лишения — впрочем, нельзя чувствовать себя лишенным того, чем не владел, — и доверчивой привязанностью. Нравилось и то родовитое, что проглядывало сквозь бедную, почти крестьянскую одежку в фигуре внука и в осанке, коли приложимо к подростку такое слово. Внук не унаследовал ни тонкой красоты деда, ни скромной пригожести отца; широкое, щекастое, крутособое лицо с карими теплыми глазами могло бы показаться простоватым, не выпирай так отчетливо порода: круглая голова прочно и прямо сидела на широких плечах, крутая грудь, чуть тяжеловатый стан, стройные крепкие ноги — все обещало вылиться в презентабельную наружность настоящего русского барина. Но чувствовал князь Василий, что внуку не хватает характера, и это его горестно тревожило. Его сын был слабым человеком, потому и сломался так быстро, сам князь лишь в ссылке явил мужество смирения. А так — у старика хватало внутренней честности признаваться себе в этом — недоставало ему воли и упорства, необходимых для государственного человека. Он почитался некоронованным царем России, но обязан был этому лишь Софьиной любви. Он мог не уничтожать местничества, не подписывать долгожданного вечного мира с Польшей, не вынашивать великих государственных реформ; Софье достаточно было его взгляда из-под длинных пушистых ресниц, прикосновения легких и крепких рук, забытья в его объятиях. Но и здесь потерпел князь чувствительный урон. Поддавшись честолюбию Софьи, дал вовлечь себя в злосчастные крымские походы, хотя знал, что нет у него ратного дарования и беспощадности, необходимых для войны, а тем временем наглый и ловкий Федька Шакловитый занял его место, пусть не в сердце мужеподобной и сладострастной царевны, а в постели. Подавленный двойным бесчестьем — в ратном и любовном делах (за первое его увенчали незаконными лаврами, за второе — рогами), он согласился против воли в отчаянную минуту на устранение Петра, чем и подписал себе приговор. И ведь знал же, знал, несчастный, что служит неправому, черному делу. Возьми

верх Софья — и Россия осталась бы в своем душном беспробудном сне. И тогда все попытки сбросить воюющий вшивый тулуп, укрывший с головой русское тело, ни к чему бы не привели.

А будь он сильным человеком, как и положено государственному мужу, то бросил бы заведомо проигранную игру и перешел бы на сторону Петра, да не хватило духу.

Когда князь Василий понял, что не может переступить через себя не из-за любви, давно погасшей, а из благодарности Софье, то пошел до конца за неверной возлюбленной, незаконной претенденткой на шапку Мономаха, преступной сестрой и возмутительницей государственного порядка. А место ему было при Петре. Он не мог быть ни правой, ни левой рукой царя, да и было у того рук, что у индийского бога Шивы, но мог быть при его уме. Это неправда, будто Петр сам все решает, никаких советов не слушает. Царь с детских лет ко всему прислушивался, и приглядывался, и мотал на пробивающийся ус. Как некогда Голицын, он повадился в Кукуй, чтобы набраться сведений и знаний у бывалых иноземцев. Петр сделал адмиралом пройдоху и пьяницу Лефорта — тот не мог устоять на палубе даже в штиль, — потому что ценил его умную голову. Но не хватило князю Василию характера, и похоронил он свои как бескорыстные — ради общего русского дела, так и честолюбивые — во славу рода — мечты. Наверное, в сознании неотвратимости всего содеянного и коренилось спокойствие князя, которое окружающие принимали за мужество, впрочем, есть ли тут какое различие?..

А может, что ему не удалось, выпадет внуку? Не станут же ни в чем не повинного юношу век тут держать. Небось простят и семейство, как только уйдет из этого мира осужденный глава, и вернут в Москву. Но была и подспудная мысль: авось Мишу раньше вызовут в столицу для участия в государевой заботе. Царю нужны молодые шляхтичи для службы в армии и на флоте, на верфях, рудниках, при прокладке каналов и дорог, в приказах. Людей не хватало, их зазывали из-за границы. Русь очнулась, струнулась с места, но двигаться могла лишь усилиями своих сынов. Если б старый князь не надеялся на скорую перемену в Мишиной судьбе, он поторопил бы свой уход, дабы не мешать внуку. Это грех, но страха божьего князь не ведал, он знал — все зло от людей. Уж больно хотелось поверить, что не засохнет их ветвь, вон

другие Голицыны в большом фаворе при царе состоят и все вверх тянут.

Мишенька умный, а что не зубаст, так восполнит прилежанием, радением о государевой пользе, и притом он, потомок Голицыных, может позволить себе не толкаться, не работать локтями и не кусать исподтишка соперников. Про себя Василий Васильевич знал, что на любом попроще для успеха одного лишь прилежания недостаточно, надо уметь пускать в ход зубы, а иной раз напрочь рвать другим горло, если фортуна сама не выберет тебя в любимчики, да уж больно хотелось ему славы и успеха для Мишеньки, в этом видел он оправдание своей незадавшейся жизни.

Миша в самом деле прославится, но совсем на иной манер, нежели мечталось опальному временщику. Слава его прогремит по свету, о нем будут слагать стихи еще при жизни, писать пьесы, он станет героем оперы и того нового призрачного искусства, появление которого не мог предвидеть его дед. В энциклопедических словарях будет он стоять отдельно от всех Голицыных: остальные и сам Василий Васильевич, тягавшийся с царем, и славный Голица, давший имя роду, и все воители, все государственные деятели пойдут в одной рубрике ГОЛИЦЫНЫ, один Мишенька — наособь. Эту честь он заслужит, явив в своем лице величайшее унижение человека, до которого доводило когда-либо самодержавие «нижайших рабов своих», — так подписывался в посланиях к Елизавете Петровне знаменитый философ Иммануил Кант, став на короткое время подданным императрицы.

Но все это ждало Мишу в далеком будущем. А покамест и самому причудливо-злому воображению не могло представиться, что под хмурым пинежским небом добродушный, румяный не по климату, неглупый и смиренный юноша зреет для столь удивительной и редкой участи. А рядом с ним тихо угасал выдающийся, с несостоявшейся судьбой деятель России — первый среди тех, кто, играя в большие, грозные игры, где ставка — человеческая голова, определил ужасную судьбу своего внука, скромного человека, желавшего играть лишь на орешки в семейном кругу...

Надежда изгнанника оправдалась: когда Миша достиг юношеского возраста, его затребовали в столицу. Как ни больно было старому князю расставаться с последней привязанностью — к остальной семье относился с прохладной ласковостью, — он был счастлив. А внук, похо-

же, не разделял этого чувства. Миша испытывал грусть не только от разлуки с дедом, было жаль оставлять суровую и милую землю, ведь он иной не видал.

В самом нежном возрасте он просто не понимал, что семья его живет совсем не так, как ей следовало бы по знатности и заслугам предков. Подобно всем местным мальчишкам, Миша радовался каждодневному бытию: летом — солнцу и птицам, осенью — морошке и клюкве, зимой — снегу, санкам и небесному сиянию, весной — близости короткого северного лета. Он рос на деревенской улице, а в непогожие дни сидел в теплой избе, что-то мастерил из щепочек и палочек, слушал сказки. И до чего ж вкусна была сырая семга и прихваченная морозцем клюква!

Позже он узнал, что его семье надлежало жить не в глухой деревушке на краю света, под надзором, а в палатах каменных или богатой усадьбе, в окружении многочисленной челяди. Потерянный далекий и прекрасный мир представлялся довольно смутно, но тревожил воображение, впрочем, не настолько, чтобы в мальчике зародилась навязчивая, болезненная мечта об утраченном великолесье, о Москве белокаменной, — не мог говорить о ней без слез старый князь. В их северном пустынном крае тоже было неплохо.

В тревоге юношеского созревания Миша стал чаще и томительнее думать о том, что скрывается за краем видимого пространства. Но вяловатая душа мальчика оставалась чужда честолюбию и мятежным порывам. Да, дед велик был в дни фавора, всю державу русскую под себя подмял, а чем все кончилось? С большой высоты падать больнее, хотя дед никогда не жалуется на судьбу. «Мог бы я стать царю первым помощником в его великих делах, — говаривал князь Василий, — ибо теми же глазами глядел на будущее Руси, те же вынашивал замыслы, да господь иначе рассудил. Послал мне наказание за мои грехи». — «А в чем твои грехи, дедушка?» — отважился раз спросить Миша. «Много их... А худший — злоумышлял я против царя», — сказал старик и замолчал, и никогда к этому разговору не возвращался.

Юность склонна к самообольщению. Но тут обольщалась пустой мечтой старость. А Миша не связывал особых надежд с той жизнью, которую знал только по рассказам, которая издали влекла его, но пуще страшила. Он, не видевший больших людных селений и путных домов, робел перед городом с его величественными собора-

ми, высоченными колокольнями, каменными палатами, многолюдством, толчеей, шумом и ежился при мысли о важных, нарядных, самоуверенных господах, среди которых придется жить, пусть он знатнее многих из них. Миша не представлял себе ни этой будущей жизни, ни службы и даже не знал, чем бы ему хотелось заняться. В рассказах деда его больше всего грели довольно скудные и пренебрежительные упоминания о подмосковной вотчине с огромным садом, прудами, с библиотекой и картинами на стенах. К этому примечывалась молодая хозяйка и всякая прелесть, думать о которой зазорно и раздражительно. Но вотчина давно отошла к другой ветви Голицыных, что были в чести у государя и вовсе не собирались уступать нагретого места внуку изменника. Как обычно бывает, жизнь сама распорядилась, о собственных намерениях юноши никто и не спрашивал.

Не успел Миша ни оглядеться в Москве, ни оробеть больше той робости, что уже жила в нем, как его доставили перед лицо царя. И тут Миша не испытал ни страха, ни какого-либо враждебного чувства к повелителю, сломавшему жизнь его семье. Дед сам говорил, что несет кару за свою вину перед царем, а он, Миша, ни в чем не виноват, ему бояться нечего. Впрочем, логический расчет ни при чем, просто он не боялся — и все!

Было время, когда самодержец пытался прощупать направляемых для обучения в чужие земли юношей по части грамоты, счета, географии и славных деяний предков, но вскоре от такой проверки отказался, убедившись, что ни один кандидат дальше псалтыря в науках не двинулся. Теперь Петр рассчитывал лишь на пронизывающую силу своего взгляда. Он заламывал юноше чуб на темя и вперялся в глубь зрачков, пытаясь вычитать там ценность подданного. К чести юных шляхтичей, они стойко выдерживали темный мерцающий взор царя, открывая ему небесную прозрачную голубизну младенческого идиотизма. Но пить они начинали уже в каретах или возках, задолго до пересечения русской границы и не оставляли сего занятия во все дни обучения в Сорбонне, старых университетах маленьких немецких городков, амстердамской или лондонской навигационных школах. И все-таки многие из них научились в чужеземных странах не только танцам, поклонам и всякому светскому обхождению, но и полезным предметам: иностранным языкам, математике, словесным наукам, международным тонкостям для посольских дел и практическим занятиям

по судостроению, вождению кораблей, строительному и рудному делу.

Как всегда, хотя и с бóльшим, нежели обычно, интересом Петр впился в глаза юноше. Затем, желая поглубже погрузить взгляд в зрячие колодцы испытуемого, схватил Мишу за чуб и запрокинул ему голову. Голицыну было неловко и стыдно за царя, ни с того ни с сего причиняющего ему боль. Он улыбнулся Петру: дескать, ничего, вытерплю.

— Чему обучен? — отрывисто спросил Петр, не ослабляя хватки.

Голицын ответил подробно.

— И латынь знаешь? — недоверчиво спросил Петр.

— Знаю, государь. Могу читать, писать и разговаривать.

— С кем? — хохотнул Петр, но лицо оставалось жестким, а взгляд темно и грозно пронизывающим. — Ты что, пустоверскую академию кончил?

— Дед был моей академией, государь.

— Изменник? — И Петр так сжал в кулаке волосы Голицына, что у того заслезились глаза.

Голицын не ответил.

— Овечкой небось прикидывался? Меня во всем виноватил?

— Нет, государь, всю вину на себе считал.

Петр сказал задумчиво:

— Он умный, твой дед... Кабы за Софьин подол не цеплялся... Ладно, поедешь в Париж, в Сорбонну.

И перед недавним обитателем волоко-пинежской пустоты развернулись парижские виды. Жизнь Миши в ту пору мало чем отличалась от жизни любого парижского студента, но значительно разнилась от жизни тех соотечественников, которые тоже проходили курс наук в одном из старейших европейских университетов. То были юноши из состоятельных семей, получавшие от родителей щедрое содержание. Они жуировали вовсю, манкировали лекциями, чередуя светские и полусветские удовольствия с вульгарными попойками, единственно для увлажнения горла, которое могло вовсе сохнуть в стране сухих и полусухих вин.

Князь Голицын, не будучи приучен к вину в самые восприимчивые лета, выпивки чурался, он много читал, усердно посещал лекции, ходил в Оперу и французскую комедию, конечно, не в ложи и не в партер, прогуливался по аккуратным французским садам и паркам, наслаж-

даясь не столько их расчисленной красотой, сколько дивными мраморными скульптурами в аллеях, изображавшими античных богов и героев, имел — за весь курс — две три скромные связи, обнаружив серьезность и верность, весьма непривычные для легкомысленных француженок.

Почти так же — трудолюбиво и скромно — будет жить в Париже другой русский юноша, о котором Петр произнесет прозорливые слова: «Вечный труженик». Он будет с тем же старанием учиться, корпеть в библиотеках, надсадно вызывать примадонн с галерки Парижской оперы, восхищаться скульптурами в парках, дворцах, всем красивым и утонченным, чем в избытке обладал Париж, но распорядится накопленным богатством удачнее Миши, что при этом не принесет ему счастья. Этот усердный и одаренный юноша, став зрелым мужем, приложит руку, хотя без охоты, из-под палки — в прямом смысле слова — к великому издевательству над Михаилом Голицыным, обессмертив его в похабных и ужасающих по бездарности стихах, хотя ему удавались и звонкие, чистые песни. Так переплелась жизнь двух парижских — русского происхождения — студизосов разных лет: Михаила Голицына и Василия Третьяковского.

По родине юный Голицын не скучал, ибо старая родина — Кологоры — при всей нежной памяти о ней уж слишком проигрывала в сравнении с блистательной Лютецией, а к новой, недавно дарованной — Москве — он не успел привыкнуть, привязаться сердцем. По деду скучал, но приучал себя не думать о нем, зная, что больше с ним не встретится.

Если он раньше жил в пространственной пустоте, но в душевном угреве, то сейчас в густоте одушевленного и вещественного мира пребывал с незаполненной душой: веселые подружки, так любившие недорогие перстеньки, брошки и просто золотые монетки, могли дать лишь короткое тепло своего юного, ловкого, умелого тела, не больше. Но князь верил, что по окончании курса он получит служебное назначение скорее всего при одной из наших иностранных резиденций и тогда устроит всерьез и свой дух, и свою плоть.

Вопреки ожиданию по выходе из стен университета он был отозван домой и зачислен малым чином в военную службу, в захудалый армейский полк. Похоже, кому-то сильно не хотелось, чтобы внук опального временщика оказался близок ко двору и, глядишь, пошел бы в гору. Даже полуобразованные люди были нарасхват в петров-

ской Руси, а тут пренебрегли выучеником лучшего университета Европы.

Многие дворяне считали, что военная служба — кратчайший путь к успеху, но это не в случае с Михаилом Голицыным.

В роду Голицыных строго разграничивались дарования: были Голицыны-воины и Голицыны — государственные мужи, между ними находились Голицыны-баре, склонные к роскошной жизни, изящным искусствам и проживанию больших состояний. Мой скромный герой принадлежал, несомненно, к третьему типу Голицыных. Баре-байбаки-эстеты Голицыны порой достигали временного успеха в дворцовой или государственной службе, но Михаил Голицын этой возможности не имел. Отдаться же своей прямой склонности — сибаритству — тоже не выходило: надо служить, да и пуст карман. А к воинской трубе он был положительно глух.

В армейской службе оказались вовсе не нужны все приобретенные им знания, глубоко изученные языки, мудрость прочитанных книг, воспитанный на изящном вкус, безукоризненные манеры. Требовались качества прямо противоположные, которых Голицын был напрочь лишен: решительность, жестокость, грубость, умение беспрекословно подчиняться высшим и беспощадно давить низших. Все это было чуждо его натуре, он не снискал благоволения командиров, симпатий товарищей и благодарности низших чинов, державших его за придурка. Солдатам было ни тепло ни холодно от его бессильной доброты; пусть он сам держал руки на привязи, за него зверовали другие офицеры. Выходило так на так.

Неизвестно, в каких он участвовал кампаниях и как проявил себя в деле, лавров, во всяком случае, Голицын не стяжал. Его чело украсит в свой час иной венок: из капустных листьев, пучков редиски, петрушки и огородных сорняков. Но это позже, когда житейский путь будет пройден почти наполовину.

Голицын жил чужой жизнью, пустота внутри все ширилась, и, чтобы хоть как-нибудь ее заполнить, он женился. Впрочем, тут отсутствовал волевой жест, он позволил себя женить на помещичьей дочери, засидевшейся в девках. За женой взял он приданое — справное именье, но армейская служба помешала свить гнездо. Походная жизнь уводила его прочь от дома, где ж тут было привязаться к жене и детям!

Голицыну было около сорока, но дослужился он толь-

ко до майора, в то время как его сверстники ходили в полковниках и генералах. Знатные люди быстро поднимались в чинах, ибо начинали не с нуля, их зачисляли в военную службу, когда они еще размахивали игрушечной сабелькой. У Михаила Алексеевича подобного преимущества не было. Он покорно тянул армейскую лямку, поняв, что внуку волоко-пинежского изгнанника хода не дадут, покорно принял смерть жены, покорно уступил детей опекунству ее родителей, а в смутные дни, наступившие за кончиной Петра, вышел в отставку. И это не было волевым жестом, он просто выпал из армии, как лишний гриб из кузовка. И тут Голицын наконец очнулся от сонной одури и чего-то захотел. Трудно сказать, чего именно, — характер у него был смятый, что объяснялось условиями, в каких он родился и вырос, он не смел чего-либо желать и уж подавно заявлять вслух о своем желании. Добрые люди научили его отпроситься в Италию для поправки застуженного в бивуачной жизни здоровья. Разрешение было получено, и он укатил во Флоренцию, снова одинокий, свободный и не знающий, что с этой свободой делать.

На берегах Арно Голицын довольно скоро понял, как распорядиться своей свободой, — надо поскорее от нее избавиться. Отдав дань несравненной архитектуре — соборам, дворцам купцов и герцогов, старому баптистерию, дивному куполу Брунеллески, венчающему собор Санта-Мария дель Фиоре, галерее Уффици, — равно и нынешней прелести живого, кипучего торгового города с золотыми рядами на мосту через тенистую, пахучую и живописную реку, потолкавшись в густой веселой ночной толпе, он снял чистый — по итальянским меркам — флигелек дома на окраине города у виноградаря, содержавшего небольшую тратторию тут же рядом, и поспешил влюбиться без памяти в его младшую дочь Лючию. В деревенском пригороде Флоренции ее отец считался богачом и был исполнен к себе немалого уважения. К русскому князю он относился в меру любезно, но без малейшей угодливости и даже почтительности. Голицына скорее забавляло, нежели сердило самомнение винодела-трактирщика, которого он шутливо называл про себя будущим тестем.

Михаил Голицын мог по праву считаться мужчиной в самом соку, но все-таки разница лет между ним и любимой угнетала, сковывала и без того нерешительного князя. Лючия, смуглая, темноглазая, белозубая девушка, ни-

чем не отличалась от других смазливых итальянок, способных вызвать мгновенное желание, исчезающее без следа, стоило отвести взгляд. Но, видимо, чем-то все-таки отличалась, если впервые в жизни Голицына охватила страсть. Он и не подозревал, что способен так воспламениться.

Подобным взрывом страсти некогда пленил коренастую грубоватую Софью князь Василий Голицын, причем оба так никогда и не догадались, что то была страсть честолюбца и реформатора, вдруг узревшего кратчайший путь к осуществлению грандиозных замыслов. В то мгновение, когда князь Василий осознал, что это мясистое лицо с тяжелыми серыми глазами, эта бесформенная плоть и неожиданно маленькие красивые руки, эти увядшие волосы и густые шелковистые брови вольны дать ему все, чего захочет ненасытная жажда свершений, его пробил дрожь, сообщившаяся Софье и кинувшая их друг к другу навсегда. Никому не разъединить было нашедших одна другую в сумятице мироздания половинок единой сути. Князь все понимал про нее. Софья могла ему изменять с топорным и сильным Шакловитым, когда его не было рядом, — князь Василий сам разбудил в ней чувственность, неподвластную воле; но мечталась ей в медвежьих объятиях стрелецкого вожа о худом узком теле Голицына, его пронзающем до сердца жаре, и когда он возвращался из ненужных походов, большого размашистого Шакловитого будто шапка-невидимка накрывала — Софья его не видела. Жгучая память об их первом соединении была так сильна в ней, что она не заметила, не почувствовала его остуди. Про себя самого князь Василий понимал куда меньше, чем про Софью; недостающей ему половинкой была вовсе не царевна, а его собственная жена.

Внук князя не подменял одного чувства другим, и его страсть была неподдельна и, как всякое сильное, искреннее, излучающееся из сердца чувство, не могла не затронуть молоденькой итальяночки. Голицын слова ей не сказал, лишний раз взглянуть боялся, а девушка знала, что важный русский барин без памяти влюблен.

Охваченный испепеляющей страстью, Михаил Алексеевич мечтал о тайных уладах любви, но никак не о радостях законного брака. Подобный мезальянс просто не приходил на ум. Гедиминович, внук негласного правителя России, аристократ с головы до пят, не мог взять в жены дочку крестьянина-корчмаря, как бы ни цвел ее юный рот, какие бы волны ни исходили от смуглого гибкого

тела. Этого бы просто никто не понял. И потом разница в годах; через десять лет он будет стариком, а она только вступит в самый опасный женский возраст. Ночью Голицын ворочался без сна, прикидывая, какую сумму предложить отцу и какие драгоценности преподнести ей, чтобы избавиться от неутраченного жжения в груди и всех других беспокойств. Он попробовал сделать Лючии подарок: брошку с гранатами, которую приобрел за сходную цену в золотых рядах над Арно. Она засмеялась, приколола брошку к полупрозрачной ткани, прикрывающей легко дышащую грудь, чмокнула его дочерним поцелуем в крутой вспотевшей лоб и вернула драгоценность. «Я не могу принять такого дорогого подарка». Никакие уговоры не помогли. «Отец убьет меня». Это было явным преувеличением, и Голицыну подумалось, что путь к корсажу дочери ведет через карман папаши, глубокий карман в холщовых штанах, где покоилось множество вещей: часы, ключи от винных подвалов, штопор, кисет с табаком, трубка и кресало, молитвенник, шприц для вытягивания винных проб, какие-то маленькие инструменты, складной нож и серебряные монетки. Усидев с ним три оплетенных бутылки «Кьянти», Голицын осторожно дал понять, что мог бы прекрасно обеспечить Лючию. Старик заинтересовался, что он имеет в виду. Виллу на ее имя в любом привлекательном месте Италии, банковский счет, коляску, лошадей, кучера и служанку. Трактирщик слушал благожелательно, попыхивая трубочкой и отмечая кивком каждый из посулов, потом спокойно заявил, что все хорошо, недостает лишь малости: божьего благословения. Если князь способен выдержать маленький церковный обряд, то пусть забирает Лючию, хотя и негоже ей опережать старших сестер.

Человек более решительный и предприимчивый, чем Михаил Алексеевич, наверное, не придавал бы большого значения болтовне зазнавшегося корчмаря и постарался бы объяснить ему, какая пронасть разделяет знатнейшего русскому вельможу (не беда, что он от сохлой ветви могучего голицынского древа), богача (для итальянцев все русские — баснословные богачи) от миловидной флорентийской простолюдинки; мог бы подействовать на корыстолюбие старого крестьянина, посулив ему хороший куш на расширение дела, или попытался бы соблазнить Лючию, не оставшуюся безразличной к его влюбленности, — дородный, породистый и простодушный князь нравился женщинам; он мог, наконец, что было не ред-

костью в Италии, похитить Люцию с помощью наемных удальцов, но все эти отважные и дерзкие замыслы были не по плечу Михаилу Алексеевичу; даже охваченный страстью, он оставался человеком с деликатной душой.

И Голицын согласился на женитьбу, сделал по всей форме предложение, которое было милостиво принято, правда, с одним непременным условием, чтобы он перешел в католичество: за человека другой веры Люция не пойдет. Все его уверения, что у русских это не положено и может привести к тяжелым последствиям, оказались напрасны. Равно было отвергнуто предложение о принятии невестой православной веры. Старый трактирщик был фанатичным католиком, а Люция — послушнейшая из дочерей.

Тяжело менять веру, хотя Михаил Алексеевич не отличался религиозностью, как и его вольнодумный дед. Тот, правда, учил внука закону божьему, но в святой вере не настаивал. Дряхлый кологорский попик, что-то брусивший в тихом безумии, и вечно пьяный дьячок не могли привить ему уважения к церкви. Да и после Голицын ходил в храм по обязанности, проборматывал положенные молитвы, не вдумываясь в их смысл и ничуть не уповая на помощь небесную. И коли такая отвлеченность вторглась между ним и любимой, то можно сменить религию, хотя всякая измена была ему не по душе. Он настаивал на одном: чтобы все произошло без лишнего шума. И обращение, и свадьба. Капризный кабатчик и тут было заартачился, поняв уже, что из князя можно веревки вить, но Голицын испугал его, сказав, что это грозит лишением состояния, если во дворе сведуют о его веротступничестве. Будущий тесть согласился, потому что звонкую монету ставил выше своего католического усердия и крестьянского тщеславия. Все было сделано тихо и чинно, без вульгарного простонародного шума.

Положа руку на сердце, Голицын не без тайного удовольствия решился на дерзкий и крайне опасный по тем временам шаг. Ему захотелось хоть раз в жизни совершить свой поступок. До этого им безраздельно распоряжалась чужая воля, решавшая, где ему жить, чем заниматься, даже женитьба, выход в отставку и поездка в Италию были также ему подсказаны. Конечно, и к перемене веры его принудили, но этим оплачивалось счастье, а главное, тут был вызов, пусть тайный, тому по-

рядку, который угнетал его всю жизнь. Он впервые почувствовал себя человеком, способным на самостоятельный жест.

Потекли дни безоблачного счастья, увенчавшиеся рождением очаровательной смуглой кареглазой дочки. И Михаил Голицын, безвинный узник, игрушка в руках царя, нищий сорбоннский студент, армейский тусклый офицер, полубарин в неуспевшем образоваться семейном доме, лишенный отцовства вдовец, узнал, что такое счастье. Он вложил кое-какие деньги в дело тестя и целиком отдался своей запозднившейся первой любви.

Он купил славный домик, увитый диким виноградом, с небольшим благоуханным садом, по которому пробегал звонкий ручеек, приобрел музыкальные инструменты — у него был хороший слух, он легко научился играть на клавесине, лютне и флейте, а Лючия мило пела низким, трогательно не идущим к ее летучей стати голосом. Страсть Голицына не только не утихла, но разгоралась все ярче, он похудел, загорел, красиво и гордо сидела крупная голова на широких русских плечах. Счастлива была и Лючия.

Он совсем забыл о России, но Россия помнила о нем. О, этот памятный разум государства, способный не забывать и о ничтожнейшем муравье из своей муравьиной горы, если тот помечен знаком неблагонадежности! Но далекая родина до поры молчала, занятая совсем другими, большими и тревожными делами. Такими серьезными делами, что, не оборонись старина руками молодого поколения, и Россия получила бы новую институцию, ограничивающую самодержавие. Многие видели в затее олигархов-верховников прообраз русского парламента. И снова это сотрясение империи, едва не приведшее к катаклизму, роковым образом отразилось на судьбе скромного, тихого человека, не державшего в душе иной заботы, кроме своей любви. Настывший в архангельской студии и армейском палаточном прозябании, Голицын самозабвенно грелся и никак не мог отогреться под жарким солнцем Италии.

После дворцовой чехарды — на трон сначала взошла волей и дерзостью Меншикова поднятая Петром из ливонской грязи Марта Скавронская, нареченная Екатериной, затем после внезапной ее смерти — законный наследник, царев внук Петр II, тоже не задержавшийся надолго, умерший в одночасье, что помешало пронырам Долгоруковым возвести на престол обрученную с ним

девицу из своего дома — за дело взялись верховники, члены Тайного верховного совета во главе с решительным, умным, но политически близоруким князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, и пригласили на престол герцогиню Курляндскую Анну, ограничив ее права «кондициями» — условиями. Она была дочерью старшего брата и соправителя Петра, полуидиота Ивана Алексеевича. Вернее сказать, считалась дочерью, ибо недееспособный Иван не мог вздыбиться на любовь, он даже свет божий зрил, лишь приподымая пальцами застятые веки. Анна, как и две ее сестры, была нагульным ребенком царицы Прасковьи — блудливой святоши. У Анны не было преимущественных прав на престол, но Дмитрия Михайловича Голицына устраивало, что она вдова, к тому же самая бедная, несчастная и бессильная из всех возможных претендентов на престол, стало быть, окажется игрушкой в руках верховников.

Анна Иоанновна, не любимая матерью, потерявшая мужа вскоре после свадьбы, третируемая царственным дядей, не признаваемая курляндским дворянством, влачила существование жалкое, почти нищее. Петр приказал отпускать ей на жизнь ровно столько, чтобы не дать помереть. К тому же к ней был отряжен в Митаву для пристального догляда гофмейстер Петр Бестужев. Догляд она чуть ослабила, сойдясь с честолюбивым интриганом. Когда Бестужева на время отозвали, у нее оказалось утешение более душевное: мелкий дворянин, искатель фортуны Бирен, недоучившийся студент — курс наук завершился для него побоями, которые нанесли ему корпоранты за дрянной, низкий характер и нечестность, — неудачливый карьерист — попытки пристроиться при русском дворе завершились опять-таки избиением. Дважды битый Бирен держался гордо, был высок ростом, превосходно сложен и красив, несмотря на длинный острый нос. Он пристроился конюшим при герцогине Курляндской, взяв на себя заботу о жалких одрах, на которых она передвигалась. Давно пережившая свою весну, Анна влюбилась до умопомрачения в красавца лошаадника. Войдя в фавор, Бирен первым делом присвоил себе старинную княжескую фамилию Бирон, которую в ту пору с блеском носил знаменитый французский маршал, прославившийся на полях сражений и еще больше на ристалищах любви.

Анна Иоанновна, счастливая на любых условиях избавиться от гиблого курляндского заточения, без звука подмахнула кондиции, составленные князем Дмитрием

Голицыным при вялом участии титулованных сподвижников, которые не шли за ним, а влачили на аркане маленькой, сухой и властной рукой прирожденного диктатора. Среди условий было одно страшное для Анны Иоанновны: не брать с собой в Россию конюшего Бирона — единственную отраду, Кукленка, пропахшего навозом, лошадиной мочой и потом, — для Анны Иоанновны эти дурманы были пленительнее всех дразнящих парижских благовоний. Чудовищное насилие над ее душой и плотью придало ей необходимую смелость и решительную минуту жизни.

Анна Иоанновна отправилась в Москву, куда при Петре II перетасили столицу, а Бирон тайно пробрался в Петербург и спрятался в дворцовых конюшнях, где почувствовал себя как дома. Харчишками он запаса, воду лошадям приносили, а спать под боком у кобылы — что может быть лучше!

Пока Бирон находился в стойловом содержании, произошла трагикомическая история рождения и смерти в колыбели российского «парламента». Но вождь этого обреченного на провал движения не был смешон. Заурядный военачальник и крупный администратор петровской эпохи, ушедший в тень в дни засилья Долгоруковых, Дмитрий Голицын смело выступил на авансцену истории, когда Россия вновь осталась без царя в голове. Неурядицы, интриги, произвол временщиков, полное небрежение делами, забвение петровского наследства, алчный цинизм и распад тех, кто когда-то делал историю, привели страну в полное расстройство. Если б не страх, внушенный Петром исконным врагам России, могла повториться страшная заваруха Смутного времени.

В этих обстоятельствах, когда надо было действовать быстро, отважно и решительно, Дмитрий Голицын явил волю настоящего вождя. Но одно — растормошить вялых, тянущих каждый в свою сторону сподвижников, составить сильный документ, даже принудить будущую государыню к согласию на ограничение власти, и совсем другое — повернуть колесо истории. Для этого у Голицына не оказалось прежде всего понимания тех глубинных движений и перемен, которые неотвратимо творились под пеленой внешней российской жизни. Не обойденная верховниками знать, не вмешательство гвардии сорвали планы Голицына, а впервые выступившее как единая сила дворянство, не учитываемая до сих пор в государственных расчетах часть привилегированного российского населе-

ния. Это они, шляхтичи, служилые люди царя, испугавшись, что вместо одного фаворита получат десяток крутохватов на шею, и вовсе не желая идти опять под боярскую руку, ударили челом Анне, чтобы она разорвала кондиции. Государыня не могла устоять перед единодушным гласом своих подданных и публично разорвала в ключья бумагу Голицына.

После этого она поспешила в Петербург, в конюшню к милому, которого нашла обхудавшим, в кислом настроении, перепачканным с ног до головы навозом и сеной трухой. Она ничего не сказала, только издала тихое нутряное ржание, похожее на глубокий, со дна желудка, хохоток. Он мгновенно все понял и ответил ей мощным всхрапом, заставившим всех кобыл в стойлах тревожно забить копытами. Так началось правление и счастье Анны Иоанновны, а верноподданное дворянство, подарившее ей самодержавную власть, вместе со всей Россией получило бироновщину.

Дмитрий Михайлович Голицын не ошибся, отпев свое дело такими словами: «Пир был готов, но гости были недостойны его! Я знаю, что я буду его жертвой. Пусть так — я пострадаю за отечество! Я близок к концу моего жизненного поприща. Но те, которые заставляют меня плакать, будут проливать слезы долее меня». Провидческие слова, но едва ли он думал, что самые горючие слезы, хотя они никогда не выкатятся из глаз, омывая внутреннее лицо, будет проливать его внучатый племянник, ни сном, ни духом не причастный к делам верховников и узнавший о них с большим запозданием. Анна Иоанновна не посмела тронуть влиятельнейшего среди старой знати князя Дмитрия и даже назначила его членом восстановленного в своих правах Сената, никакой роли в государственном управлении не игравшего. Но князь в Сенат почти не являлся, проводя все время среди книг, картин и статуй в своей подмосковной вотчине — селе Архангельском.

Анна затаила против него лютую злобу и только ждала случая, чтобы свести счеты с человеком, едва не вырвавшим из ее рук абсолютную власть и, что еще хуже, пытавшимся разлучить с любимым. Случай такой представился в 1736 году: Голицына примазали к некрасивой тяжбе его зятя Константина Кантемира с мачехой, вдовой молдавского господаря, угодливо отыскивали вину и присудили к смертной казни. Но и тогда императрица не решилась пролить кровь и всемиловейше заменила

казнь заточением в Шлиссельбургскую крепость. Имущество было конфисковано и, как обычно в подобных случаях, ушло к Бирону, уже получившему стараниями Анны титул герцога Курляндского.

Примерно в это же время вспомнили о подзадержавшемся на лечении Михаиле Алексеевиче. Случайно ли это произошло или хотелось иметь под рукой всех членов подозрительной фамилии, сказать трудно. Голицынское древо так разрослось, что не счесть ветвей, но все же род переживал упадок: крупных людей произвели, а дети их еще не вошли в возраст, другие сами померли, третьи были вроде Михаила Алексеевича оробевшие. На виду оставался лишь один Голицын, столь далекого ответвления, что мог считаться скорее однофамильцем, нежели родней опальных Голицыных.

Послушный Михаил Алексеевич вернулся со всей возможной поспешностью, захватив с собой жену и ребенка, хотя внутренний голос подсказывал ему, что делать этого не следует. Да уж больно пригрелся он возле них, и непосильным казался холод нового одиночества.

Доложившись о приезде, Михаил Алексеевич избрал местожительством Москву, подальше от двора, а жену с дочкой схоронил в немецкой слободе. В долгом путешествии от берегов Арно до Москвы-реки и Яузы он достаточно наслушался о всех событиях, сопровождавших вступление Анны на престол, и о том, что беспокойный род его снова покрыл себя ненужной славой и что странной правит курляндец Бирон, не занимающий никакого поста, но владеющий сердцем императрицы. Много чего еще услышал Михаил Алексеевич и сильно опечалился. После князь сообразил, что человек он маленький, отставной, никому не мешает, состоянице у него незавидное, дай бог с семьей прокормиться, ни в каких интригах и заговорах сроду замешан не был, а в тревожную для государства пору дегустировал вино в подвалах тестя и с верховником Голицыным даже не был знаком.

Михаил Алексеевич обладал малым опытом российской жизни, знал ее больше по рассказам деда да по скудным наблюдениям во время гарнизонного стояния своего полка в провинциальных городах. Не было у него и друзей закадычных, которые могли бы просветить его насчет отечественных порядков, а главное — насчет опасностей, и когда появился молодой Алексей Апраксин, муж его дочери от первого брака, отпрыск старинного боярского рода, особенно возвысившегося при Петре, Голицын обрадо-

вался ему, человеку своего круга, которому можно открыть душу. Они сблизились, Голицын признался зятю, что переменял веру, и объяснил причину.

Апраксин был человек странный. Собой благообразен, ловок, несколько вертляв, как-то въедливо сердечен и легок мыслью. Казалось, он забывает слышанное тут же: в одно ухо влетает, в другое вылетает. И Голицын открылся ему, не столько доверяя его надежности и скромности, сколько полагаясь на изумительное беспамятство графа и безразличие к чужой жизни. Апраксин был с тобою, пока видел тебя, и тут он мог произвести впечатление заинтересованности, душевности и благожелательности, но стоило расстаться, забывал о тебе: с глаз долой — из сердца вон. В какой-то мере такие люди удобны для общения особенно в огнепальное время.

Апраксин нигде не служил, имел порядочное состояние, много свободного времени. Он обрадовался возникшему словно из небытия тестю, как радовался любому развлечению. Голицын, конечно, был поставлен в известность о сватовстве Апраксина и послал дочери свое отеческое благословение с берегов Арно, но встретились они с дочерью равнодушно. Их ничто не связывало, кроме тусклых воспоминаний. И поскольку в этих воспоминаниях не было чего-либо значительного и теплого, они скорее отчуждали, нежели способствовали сближению. А вот Апраксин его заинтересовал. Михаил Алексеевич впервые видел человека своего круга, столь приверженного вульгарным увеселениям. Тот мог целыми днями толкаться в Китай-городе, глазеть на бродячих лицедеев, плясунов, фокусников — особенно любил крикливого кукольного Петрушку, — на юродивых у папертей церковных; на вечно пьяных, задиристых бесприходных попишек возле храма Василия Блаженного и фальшивых белоглазых слепцов, гнусавым распевом выпрашивающих подавание, на ползунов, горбунов и прочих нищих калек; обожал уличные потасовки, травлю мелких воришек, избиение — вусмерть — крупных, ссоры лоточников, балаганные чудеса вроде волосатой женщины или пожирателя огня. А вот к домашнему театру сестры императрицы, где давались назидательные спектакли с пением и музыкой, Апраксин оставался почти равнодушен. Казалось, он не может заполнить пустоту внутри себя. Впечатления вытекали из Апраксина, как вода из худого ведра: наслонявшись по кривым улицам, отбив бока на запруженных площадях, проведая знакомых, посидев в трактире, не поленившись

сгонять в Кукуй, наслушавшись низких, в чреве закипающих басов кремлевских дьяконов на всеобщей, посетив какую-нибудь ассамблею или театральное представление и, казалось, налитый всклень, он утром вставал пуст и сух и нуждался в новом наполнении.

Голицын не принадлежал к тем, кому всякая несхожесть с собой кажется уродством, болезненным вывертом. Причудливый нрав и странные привычки зятя скорее располагали к нему Голицына, редко встречавшего оригинальных, самобытных людей. К тому же Апраксин был прекрасный слушатель — жадный, отзывчивый, а сам рассказывать не любил: уже известное, пережитое и как бы отработанное было ему скучно. Требовались новые впечатления, новые дрова, чтобы гореть. Откровенность Михаила Алексеевича с близким по родственным узам, по малознакомым человеком объяснялась и желанием переложить часть собственной ноши на чужие плечи — отсюда идут все ненужно доверительные разговоры, — и желанием произвести впечатление, задержать на себе рассеянный голубой взгляд зятя, стать чем-то, человеком с судьбой, загадкой, тайной, а не облаченной в кафтан и панталоны пустотой. Порой Голицын сам начинал сомневаться в своем существовании. Он обретал вес плоти и жар духа, лишь когда перешагивал порог чистенького домика швейцарского часовщика в Немецкой слободе, приютившего за скромную плату его жену и дочь, и оказывался в объятиях заплаканной, осунувшейся, дрожащей мелкой дрожью Люции. Да, не на такую жизнь соединяла она свою судьбу с богатым русским герцогом, владельцем роскошных палаццо, загородных вилл и толпы рабов. К чести Михаила Алексеевича, он никогда не хвастал своим несуществующим богатством, все это великолепие явилось распаленному воображению алчного виноторговца, отца Люции. Дочь же не заносилась высоко, вполне довольная той обеспеченной жизнью, какую они вели в Италии. Но она не понимала, почему на родине мужа должна ютиться у чужих людей, выходить на прогулку только вечером, не отлучаясь далеко от дома, видеться с законным супругом изредка и украдкой, прятаться в задней комнате, когда приходят клиенты или соседи старого часовщика. Тот попытался растолковать ей, что у русских браки людей разной веры не положены. Но ведь они с мужем единоверцы, возражала Люция, князь принял католичество. Тем хуже, по здешним законам ей следовало перейти в православие. Измучен-

ная женщина была готова на все, но тогда и Голицыну надо перекрещиваться, а попробуй он сделать это тайно!

Сам же Михаил Алексеевич пребывал в странной печальной беспечности, сродни обреченности. Похоже, что в некоем тайном провидении, не допускаемом до ума, он знал, чем все кончится, и где было ему восстать против судьбы? Да и что он мог? Подкупить попа? А ну-ка тот забойтся и донесет. Бесприходные попы, правда, что хошь за деньги сделают, а потом проболтаются спяна. В глубине души Голицыну не хотелось отказываться от единственного поступка, тем более что в успех он не верил. Оставалось ждать. Нет, не ждать, ибо впереди не светит, а делать вид, будто ничего особенного не произошло. Ну, жили они с Люцией вместе, сейчас живут врозь — бывает и так у людей. Он, когда в армии служил, вовсе редко видел свою жену. И ведь Люция, как и ее папаша, сама хотела, чтобы он стал католиком, вот и терпи, нельзя менять веру, как исподнее.

Все эти мысли, конечно, не утешали. Вид несчастной испуганной Люции и жалкой мышки-дочери сутулил беспомощностью, виной и стыдом. Когда же он поверялся Апраксину, то как бы вставал над маетою: да, его удел таиться и страдать, но он посмел и ведет свой счет с богом.

Апраксину не надоедало слушать историю любви и вероотступничества Голицына. Он приходил в страшное возбуждение. Парик сползал с головы, и без того вытаращенные от неумного любопытства глаза чуть не вываливались из орбит, пот тек со лба на веки, щеки, губы, подбородок, за шелковый шейный платок, который, намокая, из лилового становился черным.

Вначале Апраксин просто слушал, но однажды, видать прочно закрепив в уме вопреки обыкновению главное событие, стал расспрашивать о католических храмах, церковных обрядах, одежде священников и причта, о всех отличиях от православной службы. Польщенный его интересом, Голицын с увлечением, какого на самом деле не испытывал, принялся живописать великолепие и головокружительную высь католических церквей и соборов, украшенных дивными фресками и картинами, скульптурами и витражами, красоту и торжественность богослужения, органную музыку, уносящую душу в горные выси, всю пышность католической церкви, поставившей себя выше владык земных. Ему было немного стыдно, когда он так разливался: его деревенскому воспитанию

остались чужды подавляющая мощь, бесстыдная красота и вызывающее богатство католических храмов и помпезно-холодноватых служб. Будучи прохладно верующим, он, случалось, испытывал в бедной деревянной поповке сладкое до слез волнение, а в католических храмах рассеянный взгляд вбирал внешние впечатления, а душа молчала. И чего его так понесло?..

А через некоторое время Михаил Алексеевич узнал, что его зять Апраксин принял католичество. И сразу тревожно мелькнуло: это даром не пройдет. Конечно, он и вообразить не мог, чем обернется поступок слишком впечатлительного и беспечного графа.

Когда же его затребовали в Петербург, он уже не сомневался, что едет на правёж. С какой стати двору помнить о его мышинном существовании? Апраксин проболтался, он, может, и не выдал его, только хвастался своим переходом в другую, зело роскошную веру, но смекалистые люди небось сразу учуяли, откуда ветер дует. Михаил Алексеевич спешил и не смог перед отъездом повидаться с неосторожным зятем. Он не научился думать о людях так плохо, как они того заслуживают. Апраксин, и не скрывая, кто «отверз» ему «вежды», и впервые сохранив все подробности бесед с «духовным отцом» в своей худой голове, поведал любопытным о тайном браке Голицына с итальянкой, которую тот прячет в Немецкой слободе.

И пока князь Голицын, успокоив, как мог, жену, тащился на перекладных в Петербург, оттуда уже поспешал гонец к московскому губернатору с приказом немедленно выслать из пределов России итальянскую девку Лючию с байстрючкой — брак по католическому обряду монаршей волей был признан недействительным. Вез он и другое повеление, составленное в не менее энергичных выражениях: отрядить в Тверь Сергея Бутурлина и Герасима Ларионова с помытчиками, тайниками и силками для поимки объявившейся там белой галки. Это второе поручение немало озадачило губернатора, не считавшего себя в ответе за тверские редкости.

Да, сама императрица заинтересовалась скромной персоной Михаила Алексеевича. Когда московский донос достиг Петербурга, в злобном сердце Анны вспыхнула мстительная радость. Наконец-то она хоть на одном из Голицыных отыграется до конца за их зверование над коленом Иоанновым. Дважды посягали, окаянные, на закон-

ную от бога власть! Сперва князь Василий хотел возвести на престол Софью и сам сесть рядом, лишив короны ее отца Ивана и соцарствующего с ним младшего брата Петра. Этот-то, хитрый, сбежал в Троице-Сергиеву лавру, а Иван, простодушный, доверчивый, остался у них заложником. Хоть и смутен был ему окружающий мир, но страх, душный, неотступный страх преследовал Ивана, сорвались на вечной опаске слабые силы, помер страдалец в тридцать четыре года, оставив вдову и трех дочек на произвол младшего братца. Петр вволю поиздевался над сиротами. Средняя сестра, окрутившись тайком с Мамоновым, выпала из царевых расчетов, а им с Катериной досталось по сокровищу, по грязному борову: Катьке — мекленбургской, а ей — курляндской породы. Катька от своего сбежала, а ее красавец, слава те господи, быстро от пьянства окочурился, но успел наплевать в душу молодой жене. Не пояись Кукленок, жеребец статный и горячий, хоть руки на себя накладывай. А тут вдруг засветило нежданное счастье: открылся путь к трону. И снова поперек Голицын высунулся — близкий родич того, Софьиного усладника. Бог милостив, отвалился и этот, сейчас в Шлиссельбурге кашку просяную пустыми деснами перетирает. И ведь глазом не повел, старый коршун, ни когда ему смертный приговор зачитали, ни когда по высочайшей милости жизнь даровали. Он уже раз чуть не сыграл в ящик при Петре по делу лисы и казнокрада Шафирова. Отмолила его невесть с чего Екатерина Алексеевна, которую он иначе как Мартой Скавронской и драгунской подстилкой не величал. Что за слабость такая владела обеими императрицами, когда они миловали подлеца? Уважение к древнему роду? Да ведь Долгоруковы, поди, не уступают Голицыным, а как она их всех по совету Кукленка, жеребчика, — золотое копытце, перепластала: кого на колесо, кого на плаху. А главного смутьяна оставила доживать. Авось долго не протянет, верные порошочки раздобыл умница Педрилло-шут. И вон опять Голицын — от рождения ссыльный, отставной майоришко, пустельга, нищий — показал родовой характер: святой вере изменил, жену еретичку взял да еще дурачка Апраксина совлек с истинного пути. За это голову снять мало. Тот-то и оно, что мало. Этим она не разочтется с Голицыными за весь стыд и страх, за позор молодых лет, за унижение, которому, виданное ли дело, подвергли ее, уже императрицу. За Кукленка, вывалявшегося в конском навозе, пока над ней изгалялись,

за все... Так рассчитается, что он плаху за милость сочтет, но, что бы ни выкинул, не ускорит своего конца, а будет каждый день умирать от стыда, плевков, затрепчин, публичного осмеяния, ниже самого последнего из ее подданных, ниже бессловесной твари. И наслаждением сочилось сердце угрюмой Анны, когда она представляла себе медленную казнь Голицына.

По пути к кабинету императрицы Михаилу Алексеевичу то и дело попадались какие-то странные люди: карлики, арапы и арапчата (с петровых времен, с черного Ганнибала пошла мода на африканцев и при дворе и в домах знати, а кому не по карману африканцы, красили жженой пробкой своих марфушек и тишек); козлородый горбун в полосатых обтяжных штанцах, плаще до половины ягодиц и с пером в бархатной шапочке при виде Голицына заблеял и ткнул его головой в живот так ловко, что не смял красного пера, и вприпрыжку побежал прочь. Затем из двери выглянул кто-то длинный, худющий, с морщинистым серьезным лицом, которому очень не подходила шляпа горшком, украшенная цветами и куриным пухом; он подмигнул Голицыну карим зорким глазом, странно подмигнул — насмешливо и невесело, — и скрылся. Чуть не наскочил на князя роскошно одетый вельможа преклонных лет, погруженный в невеселую думу. Голицын остановился, чтобы пропустить почтенного придворного, но тот вдруг очнулся, скруглил испугом глаза и юркнул в какой-то закуток. Голицына удивили его попеременно-полосатые шерстяные чулки, так не подходившие к изысканной одежде. Последним повстречался князю стройный смуглый молодец, одетый, как итальянский синьор, но в странной, усыпанной бисером шапчонке, со скрипкой в руке; он провел смычком по струнам, родившим долгую, томительную, скулящую ноту, и высоким резким тенором, почти фальцетом пропел, ломаясь: «О, кара миа, донна Лючия!..»

Князь вспомнил популярную неаполитанскую песенку, его тревожно резануло имя — Лючия.

Через несколько минут князь Михаил Голицын узнал, что у него нет жены, нет дочери, нет имени, но взамен всех потерь он получил должность придворного шута...

Поразительно было пристрастие угрюмой Анны Иоанновны к шутам, придуркам, карликам, арапчатам, забавникам всякого рода. У нее было шесть шутов мужского



пола, двое достались по наследству от Петра: знаменитый Балакирев и козлобородый португалец Лакоста, в прошлом маклер и мелкий аферист. Петр подарил ему необитаемый островок на Балтийском море и пожаловал титул царя Самоедского. Лакоста был хитер, неглуп и удивительно начитан в священном писании. Петр любил дискутировать с ним на религиозные темы. Лакоста и Педрилло-итальянец пользовались особой любовью Анны Иоанновны, создавшей специально для них орден Сан-Бенедетто — уменьшенную копию второго по значению русского ордена святого Александра Невского. Легко представить, как это льстило кавалерам высокого ордена — сановникам и генералам, но императрица любила унижать людей без всякой нужды. Скрипач Педрилло — его настоящее имя Пьетро Мира — приезжал в Россию с итальянским театром, но предпочел музыке куда более прибыльную должность придворного шута. Он был в большом фаворе у Анны и Бирона. Он использовал его посредничество при найме итальянских певцов и танцоров, поручали ему покупку бриллиантов и прочих драгоценностей у обедневшей итальянской знати. Сохранилось поразительное по нагло-издевательскому тону письмо Педрилло к одному разорившемуся и «глупому до изумления» герцогу. Педрилло был силен, ловок, великолепно владел шпагой и еще лучше — кинжалом, его опасались задевать. Бирон, не разделявший пристрастия императрицы к шутам — он любил деньги и лошадей, — делал исключение для Педрилло и даже сам заводил его для разных смешных проделок. Об одной из таких изрядных шуток рассказал Петр Долгоруков в своих записках о нравах при дворе Анны Иоанновны.

«Как-то Бирон сказал Педрилло: «Правда ли, что ты женат на козе?» — «Ваша светлость, не только женат, но моя жена беременна, и я надеюсь, мне дадут достаточно денег, чтобы прилично воспитать моих детей». Через несколько дней он сообщил Бирону, что жена его, коза, родила, и он просит, по старому русскому обычаю, прийти ее навестить и принести в подарок, кто сколько может, один-два червонца. На придворной сцене поставили кровать, положили в нее Педрилло с козой, и все, начиная с императрицы — за ней двор, офицеры гвардии, — приходили кланяться козе и дарили ее. Это дикое шутовство принесло Педрилло 10 тысяч рублей».

Самым несчастным среди шутов был князь Никита Федорович Волконский. Он стал жертвой мести императ-

рицы его жене, в прошлом знаменитой красавице, презиравшей жирных и неопрятных дочерей царя Ивана. Едва укрепившись на троне, Анна своей монаршей волей постригла Волконскую в монастырь, а на ее мужа надела шутовский колпак. Его зятями были преуспевающие государственные мужи, братья Бестужевы, но даже эти родственные узы не помогли бедному старику. А самих Бестужевых, людей гордых и надменных (с низшими), ничуть не смущала принадлежность родича к шутовской кувыр-коллегии.

Впрочем, и могучий клан Апраксиных пальцем о палец не ударил в защиту графика Алексея, тоже зачисленного в шуты за отступничество от правой веры. Анна Иоанновна сочла, что усугубит унижение Голицына, если тот будет кочевряжиться рядом с зятем.

В отличие от Волконского и Голицына молодой Апраксин нисколько не тяготился жалкой ролью. Можно подумать, что он наконец-то обрел свое истинное лицо. Его шатания по рынкам, площадям и тесным улицам Китай-города в поисках грубых увеселений, пристрастие к балаганам, уличному театру, кривлянию бродячих актеров были безотчетным поиском собственной тайной сути. Теперь он нашел себя. Шут по призванию, Апраксин с веселой охотой выламывался на глазах Анны и ее двора: падал, кувырчался, раздавал затрещины и сам получал их, подставлял ножку своему неповоротливому тестю или рассеянному князю Волконскому, скакал верхом на палочке, задирали Балакирева и царя Самоедского, плясал под скрипку Педрилло, вызывал громкий смех и был вполне счастлив. Он оказался злым человеком: затевал драки, обижал бедных арапчат и не пропускал случая причинить неприятность безответному Голицыну.

Самым жалким, униженным, заплеванным шутом был Михаил Голицын. Когда Анна обрушилась на него с площадной бранью и он понял, что жизнь рухнула, у него разом выпали волосы. Он не знал этого, пока не снял парик, — весь клееный марлевый испод был забит его русской шевелюрой. Несколько минут грома и молний превратили цветущего мужчину в старика с голой, как бильярдный шар, головой. Любимым развлечением Апраксина было сдернуть парик с лысой головы тестя, что неизменно вызывало благосклонный смешок государыни и брезгливую усмешку Бирона.

Вместе с волосами Голицын утратил и то, что называ-

ется чувством собственного достоинства, точнее, ощущением себя как личности.

За близость с кавалером Монсом, соблазнившим жену Петра, прошедший застенки, пытки, битье кнутом, ссылку, солдатчину, дворянский сын Балакирев и то, бывало, огрызался даже на императрицу и, что того хуже, на самого Бирона, отказывал им в повиновении, за что бывал нещадно сечен, но повадки своей независимой не бросал. Педрилло и Лакосту боялись трогать, князя Волконского щадил, Апраксин так охотно шел навстречу оскорблениям, пинкам и тычкам, что с ним неинтересно было заводиться. Отыгрывались все, кому не лень, на Михаиле Голицыне. Тон задавала императрица. Как-то Голицыну велено было подавать гостям освежающее питье — разные квасы: хлебный с изюмом и хренком, клюквенный, яблочный, грушевый, вишневый. Начинать обнос надо было с государыни. То ли квасок и впрямь не удался — да ведь не Голицын его готовил, — то ли во рту горчило, но императрица, сделав глоток-другой, сморщилась, плюнула и с силой выплеснула из кружки остаток в лицо Голицыну. Державный жест сочли нужным повторить все придворные, кроме князя Куракина. За свою испытанную преданность он один получал право напиваться на дворцовых приемах, хотя Анна извела древний обычай избильного винопития; князь на дух не переносил квасу, а горячительные напитки слишком уважал, чтобы ими плескаться.

Да, шутка получилась отменная. Разве не смешно, когда человеку обливают рожу пенистым квасом, но поведение Голицына усугубляло комизм. Уже зная, что остаток кваса непременно угодит ему в глаза, он не пытался ни увернуться, ни прикрыться рукой, ни хотя бы прорваться досадой, гневом, жалобой. Нет, он всякий раз наивно удивлялся коричневой или другой окраски жижке, стекающей с подбородка на камзол. Он тер лицо ладонями, разглядывал их удивленно, обтирал о панталоны и шел за новой кружкой кваса, что-то бормоча и задумчиво покусывая губы. Голицын словно решал какую-то непосильную задачу и тратил на это все душевные силы, не оставляя ничего для обиды, гнева, возмущения или молчаливого призыва к состраданию. Нет, он всегда оставался серьезен, задумчив и покорен. Какой-то стержень сломался в Голицыне, в нем не осталось воли ни к сопротивлению, ни к самозащите. Он безропотно принимал все, что над ним творили, и только хотел постигнуть омрачен-

ным рассудком, что же такое случилось, почему все так переменялось в его жизни, куда девались те, с кем ему было хорошо, и откуда пришло столько вражды и зла. Ответ ускользал, он сердился на себя за недогадливость.

Вместе с квасом, выплеснутым в лицо, государыня подарила Голицыну и новое имя, хотя вовсе о том не помышляла. Это имя попало во все дворцовые ведомости, официальные бумаги, вытеснив наследственное, крестным отцом оказался шут Балакирев.

— Квасник! — давась от смеха, сказал Балакирев, хотя темные глаза его оставались сумрачными, и ткнул Голицына пальцем в живот.

Придворные разразились хохотом, даже Бирон позволил себе улыбнуться и швырнул Балакиреву золотой, который тот ловко поймал. Видя такую щедрость по-немецки экономного Кукленка, Анна Иоанновна, расточительная до болезненности, сорвала с пальца бриллиантовый перстень и кинула Балакиреву. Он так же ловко поймал и этот дар, глянул на пляшущего под свою скрипочку Педрилло, усмехнулся, подметив его алчный, завистливый взгляд, и не спеша, чтобы позлить итальянца, насунул перстень на мизинец. Пытанный, битый, познавший бешеный гнев Петра, шут Балакирев не боялся шута Педрилло со всем его итальянским коварством.

Кличка присохла. Теперь у Голицына было отнято последнее — имя. Он смирился и с этим, как и со всем другим. Кончать с собой надо было сразу, но люди со смятой душой лишены дара последнего жеста. И он отозвался на Квасника. Прибавилось лишь умственной заботы, надо было что-то понять в связи с новым именем: почему так, разве дозволено, коли не крестили... и как понять — имя ему дали или фамилию?.. — но даже вопроса перед собой поставить толково он не мог. Неглупый, образованный, живой человек неудержимо катился в черную яму.

Помимо шутов «мужеска пола», у Анны Иоанновны имелся еще штат шутих, или, как она сама говорила, дур и полудурок. К последним относились болтушки, обычно из девиц благородного происхождения, их разыскивали по всей стране. Как только доходил слух, что где-то в российских пространствах объявилась выдающаяся трешотка, туда немедленно посылался циркуляр, составленный в той же строгой манере бюрократического велеречия, что и другие официальные бумаги, касающиеся

дипломатических, хозяйственных или военных дел, и циркуляр этот предписывал немедленно доставить ко двору в целости и сохранности говорливое чудо. Болтушки заменяли Анне Иоанновне газеты: «С.-Петербургские ведомости» были сухи, казенны и ничего интересного, кроме сообщений об охотничьих трофеях императрицы, не помещали. А ей требовались городские сплетни: кто женился, кто проворовался, кто с кем согрешил, у кого ребенок родился, кто жену или тещу поколотил, кто да чем занедужил. Лишь о смертях Анна Иоанновна не любила слушать, и если какая трещотка пробалтывалась, она кричала: «Кукла, поди вон!.. Ступай, ступай вон!» — и швыряла в провинившуюся чем попало. Болтушкам запрещалось садиться в присутствии императрицы — у них деревенели ноги, кружилась голова. Одна из трещоток сильно недужила и как-то после нескольких часов непрерывной работы языком вдруг грохнулась в обморок. Анна Иоанновна приказала принести столик и ширму. Болтушку привели в чувство, сунули за ширму и разрешили опереться локтями о столик, после чего она вновь открыла словесный кран. Анна Иоанновна боялась оставаться наедине со своими мыслями, ибо сразу начинала думать о том, что трон, который она легко получила, так же легко может быть отобран.

Лучше всех отвлекала Анну Иоанновну от тягостных мыслей любимейшая шутиха, камчадалка Буженинова. Конечно, то была не настоящая фамилия, которой она и сама уже не помнила, — Бужениновой прозвала ее государыня, предпочитавшая всем изысканным блюдам простое и вкусное кушанье из свинины. Рядом с крошечной, хоть и не карлицей, всегда грязненькой и неуемно веселой дурочкой в миру Евдокией Ивановной, государыня особенно счастливо ощущала превосходство всех своих женских статей: фигуры, дородства, роста. Буженинова любила яркие шали и побрякушки, государыня обряжала свою любимицу, как рождественскую елку, а та платила ей заразительной улыбкой, открывавшей тридцать два белейших неровных, спереди чуть выпирающих зуба. Улыбка эта веселила, успокаивала.

Больше Бужениновой Анна Иоанновна любила только Бирона, но то была страсть. Ради него тяжелая, сырая, часто недужившая императрица заделалась лихой, бесстрашной наездницей, привязалась к лошадям и даже устроила кабинет при конюшнях, ради него стала меткой ружейной охотницей, лучницей и бильярдисткой, ради не-

го вела большую карточную игру в «фараон», «банк» и «квинтич», хотя не выносила карт; она всегда держала банк, чтобы проиграть, а если это не удавалось, не обменивала выигранные марки на деньги. Чрезмерная таратающая императрицы дорого обходилась ее придворным: мотовство предписывалось всем желающим появляться при дворе, требовались умопомрачительные, всегда новые туалеты и обилие драгоценностей, необходимо было умение сорить деньгами, на чем немало выгадывали шуты, кроме Волконского и Голицына; первый старался не принимать подачек, второй никогда их не заслуживал, хотя в шутовской возне ему отводилась наиболее докучная и тягостная роль. Если играли в чехарду, он подставлял широкую спину для прыгунов, если дрались, то самые крепкие затрещины доставались ему; всем шутам, кроме Недрилло, на утреннем выходе императрицы полагалось сидеть в лукошке и приветствовать ее петушиным кукареканьем. Только Голицыну велено было квохвать наседкой и хлопать крыльями.

И тут, на свою беду, ему удалось додумать одну мысль: наседка квохчет и хлопает крыльями, когда сносит яйцо, а он ничего не сносит. Это мудрое соображение он осмелился высказать императрице своим новым просевшим, скрипучим голосом.

— Квасник, дурак, что ты городишь? — запричитала Анна Иоанновна. — Квасник, поди вон!

— Собака лает, лягушка кричит, — высунулась, сверкая сахарными зубами на грязном лице Буженинова, — ямщиком свищет, кошкой мяучит, стрикодоном стрикодонит, а пузырем лопнет!

То была поговорка-скороговорка Анны Иоанновны; где она ее подхватила, бог ведает, императрица почему-то любила слышать этот бессмысленный набор слов от других, но придворные всегда сбивались, что ее сердило. Одна дура Буженинова выпаливала, не споткнувшись, затейливую чушь, и всякий раз государыня обнаруживала тут какой-то неожиданный смысл. Вот и сейчас поговорка оказалась весьма кстати — навела государыню на счастливую мысль. Хватит стрикодону зря стрикодонить: коль сидишь в лукошке и квохчешь, так уж высиживай цыплят. Отныне Голицыну всякий раз стали подкладывать в лукошко еще теплые, из-под наседки, яйца. Он не смел покидать лукошко, пока не выведет цыплят. Случалось, что по неловкости или задремав он давил яйца. Тогда ему вымазывали физиономию клейкой массой и запре-

щали утираться. Допоздна ходил он в мерзопакостном виде.

К штату шутов и шутих императрицы принадлежало несколько арапок и арапчат с несмываемой чернотой плосконосых лиц и десятка два разноцветных попугаев, которые гадили всюду, кроме своих позолоченных клеток. Анна Иоанновна очень ими утешалась.

— Попугаюшко!.. Попугаюшко!.. Марфутка дура?

— Дур-ра! — со смаком подтверждал палево-розовый хохлатый попугай.

— Попугайчики, Квасник дурак? — спрашивала императрица.

— Дур-рак! Дур-рак! Дур-рак! — ликуя орали слепяще золотые, кроваво-красные с синими крыльями, дымчато-черные с малиновыми коронами, зеленые, как гороховые стручки, изумрудные и снежно-белые красавцы. Этим крикам пернатых обучил Лакоста.

Михаил Алексеевич наклонял большую лобастую голову, с которой тотчас падал парик, обнажая глянец голого черепного свода, и задумывался над очередным мучительным вопросом, который никак не мог поставить перед собой, хотя не было на свете ничего важнее. Шуты принимались толкать его, тормошить, а четырнадцатилетний сын Бирона, допускаемый на взрослые собрания, — хлестать по икрам злым кнутиком из сыромятной кожи. Шуты одевались не хуже вельмож, отличали их поперечно-полосатые шерстяные чулки, предписанные отечественным дуракам; Педрилло и царь Самоедский щеголяли в обтяжных штанах с продольными широкими полосами. Они все числились на дворцовой службе, получали жалованье и довольствие: мукой, топленным маслом, салными свечами и дровами, как и первые российские академики, один из которых неизменно присутствовал на приемах, занимая промежуточное положение между шутами и попугаями. То был знаменитый пиита Третьяковский, пробудивший в высшем обществе тягу к стихам. Всякое значительное событие: взятие вражеской крепости, тезоименитство государыни, заключение мирного договора, благополучное разрешение от бремени любимой кобылы Бирона, любой праздник или тризна непременно требовали поэтического воспевания. Порой возникала настоятельная нужда в поэзии, способной возбудить государыню. Она чувствовала легкое остужение Бирона и винила в том самое себя, постоянные недуги притупляли ее чувственность. И на это был великий мастер Василий

Кириллович. Прочитав на коленях любверазжигающие вирши, он неизменно получал «всемиловнейшую из собственных Ее Императорского Величества рук оплеушину» и детишкам на молочишко.

Этот замечательный деятель русской культуры, прививший России классицизм, а русской поэзии — силлаботоническое стихосложение, проговорившийся несколькими истинно поэтическими строфами, каких не встретишь у куда более искусного стихослагателя Ломоносова, прожил жизнь немногим лучше голицынского горевания поры его придворной службы. Его и бивали, и раз едва не забил насмерть кабинет-министр Артемий Вольтер. Волею провидения этот омерзительный даже для грубых и страшных нравов той поры поступок напрямую связан со злосчастной судьбой Голицына, о чем речь пойдет в свое время. А избиение несчастного поэта было опрометчивым ходом в смертельной игре, в которой решались не только личные судьбы главных людей эпохи, но и всего общерусского дела. Так уж получилось, что маленькой жизнью бедного Михаила Алексеевича управляли события исторической грозности.

Прошло время, Михаил Алексеевич так и не обрел привычки к выпавшей ему доле, не приспособился, не облегчил хоть сколько-нибудь жалкой своей участи. Он оставался изгоем даже среди шутов, и странно, что мстительная злоба Анны Иоанновны не только не утишилась, не смягчилась хотя бы скукой от покорного унижения человека, не сделавшего ей ничего плохого, а как-то дурно затвердела. Она подозревала, что таинственным, непостижимым образом Квасник ослабил действие кары, вывернулся из той скорби, которая читалась в мученическом взоре князя Волконского. Тот продолжал томиться болью по жене, а этот грузный, мерзко сановитый дурак ушел в какую-то щель, где его не достать ни пинками, ни квасом. Однажды Анна Иоанновна заставила Буженинову спросить шута при ней: скучает ли он о жене? Квасник сделал такое глубокомысленное лицо, что стало ясно; он не понял, о чем идет речь.

Голицын не притворялся, он и правда не помнил своей прошлой жизни, но смутный образ чего-то бывшего брезжил неясным томлением, и хотелось угадать черты того, что он в предельном и мучительном напряжении определял: раньше было не так. А как?.. Этого он не знал. Анна была по-своему права, муку Голицына скрало помрачение рассудка, которого хватало лишь на прямое

действие сиюминутной жизни. Голицын сохранил от забытого прошлого некоторые мелкие привычки, скажем, дважды в день угощать нос понюшками табака, сохранил отличавшую его всегда опрятность, осанку, так смешившую придворных, а государыню остро раздражавшую, но почти отвык говорить, хотя все слова помнил. А с кем и о чем было ему говорить? Он никогда не улыбался, но и не плакал. Он получал удовольствие от бани, особенно на парильном полке, но не испытывал боли от побоев. Голицын не обижался на окружающих, ибо не понимал их поведения; наверное, эти человекоподобные иначе не могут, а он не может поступать по-ихнему.

Меж тем он приближался к пику своей страшной жизни, к тому, что сделало его известным не только в России, но и во всем мире. Вернее сказать, его несло к этому пику в бурном потоке, каким давно уже обернулась историческая жизнь России, сам он был щепкой, детским размокшим бумажным корабликом.

Анна Иоанновна страдала тяжелой «каменной болезнью», по определению тогдашней медицины. Граф Петр Панин в своих записках утверждал, что внутри государыни находился камень величиной с мельничный жернов, «который обнимал всю внутренность утробы и совершенно обезобразил устройство оной». Окружающие чувствовали, что дни ее сочтены, но сама Анна упорно гнала мысль о смерти и через силу старалась поддерживать прежний образ жизни: с лошадьми, охотой, стрельбой по птичьим стаям из окон дворца, карточной игрой, бужениной и Бироном. Но принимала теперь лишь самых близких, оставаясь нередко в постели, под пышным атласным одеялом, с Бужениновой в ногах и грудастой Бенингной, женой Бирона, в головах — та подавала государыне лекарства и предписанное врачами освежающее питье. Квас был уже не про ее честь.

Постоянное недомогание, дурное настроение требовали выхода, и Анна отыгрывалась на шутах, болтушках, арапках, Тредиаковском и даже на попугаях, которых берегли, — птица заморская, ценная, нежная, — но однажды государыня в порыве неудовольствия всемиловитвейше вырвала хвост у златоперого, с пунцовой короной красавца собственными Ее Императорского Величества ручками. Без этого украшения он почему-то не мог летать, смешно кувырчался в воздухе, падал и пронзительно орал. Вначале это развлекало, потом стало раздражать, попугая ощипали, зажарили и жесткое, не прожевать,

мясо скормили двум наиболее жалким шутам: Голицыну и Волконскому. Апраксин тоже просил кусочек, но ему не дали.

Всех волновал вопрос о наследнике. Петр I принял узаконение о том, что наследника назначает царствующий государь, но сам преемника не назначил, чем вызвал большую смуту. Всесильный князь Меншиков подарил России последовательно двух монархов, прежде чем успокоиться в Березовской ссылке; удачно распорядился престолом князь Дмитрий Голицын «со товарищи», за что и был награжден заточением, а товарищи — плахой. Забегая вперед, скажем: по смерти Анны Иоанновны престолом распоряжалась гвардия. Как бы предчувствуя грядущие неурядицы, Анна решила навсегда закрепить трон за коленом Иоанновым: она вызвала к себе племянницу Анну Леопольдовну Мекленбургскую и объявила наследником первенца мужского рода незамужней еще принцессы. К исходу тридцатых годов, когда императрица серьезно занедужила, принцессу выдали замуж за герцога Брауншвейгского и с нетерпением стали ждать наследника, который и появился в должный срок и был наречен Иваном. Но кому быть регентом в пору малолетства Ивана VI? Конечно, матери-племяннице и наперснице императрицы. Это казалось естественным всем, в том числе самой Анне Иоанновне, но не Бирону, герцогу Курляндскому, — ведь регент — неограниченный правитель России. Прозрачный расчет временщика: «соединить Россию и Курляндию под своим скипетром» вовсе не устраивал другого честолюбца, кабинет-министра Артемия Петровича Волынского.

Либеральные русские историки, равно и доверчивые исторические романисты хотели видеть в Артемии Волынском то, чего в нем не было: бунтаря, защитника шляхетских вольностей, непримиримого борца с бироновщиной. А был он несостоявшийся временщик. Ему не удалось сыграть той роли, какую играли Меншиков, Иван Долгоруков, Бирон, он появился на авансцене русской истории слишком поздно, когда все главные места у кормила власти были расхvatаны. И хотя Петр успел его заметить и выделить, он остался самым непреуспевшим претендентом гнезда Петрова. Волынский слишком торопился сравняться со старшими баловнями фортуны и великими казнокрадами: своим шефом Петром Шафировым и кумиром Меншиковым. Едва войдя в милость к Петру, он вскоре ее лишился по необузданному мздоимству, своево-

лию и служебным злоупотреблениям. Большой карьеры Волынский так и не сделал, но успел разорить молодую Астраханскую губернию и возмутить кротких инородцев своими притеснениями и грабительством, равно и обобрать Казанские земли, где он сперва воеводил, потом губернаторствовал. Он вошел в доверие к Анне Иоанновне, выступив против верховников, а затем участвуя в неправедном суде над ними в самой видной роли. Колоссальными взятками он расположил к себе и Бирона.

Ленивой умом Анне он понравился своими четкими, ясными докладами (писать, по собственному признанию Волынского, он «всегда был горазд»), исполнительностью, беззаветной, как ей казалось, преданностью и был назначен кабинет-министром. Так он оказался на высоте, с которой возможен любой, самый далекий прыжок. В пылком воображении Волынского мелькали смелые планы: заместить при Анне Бирона, осилив того радетельным государственным умом, для чего он пытался наставлять ее макиавеллистически тонкими посланиями («горазд был писать»), но вскоре похоронил эти расчеты — Анна была слишком предана Бирону, к тому же недолговечна. Тогда он обратил взор к Анне Леопольдовне: что, если войти к ней в доверие и подчинить себе легкомысленную сластолюбивую дуру, как подчинил кумир Данилыч государыню Екатерину Алексеевну? Но он решительно не нравился Анне Леопольдовне, признававшей лишь обходительных, лоцевых кавалеров. Тогда он вспомнил о дочери Петровой Елизавете, законной, черт побери, наследнице царя-преобразователя: вот бы кого возвести на престол, а там и сесть рядом в качестве законного мужа — он далеко не стар, крепок и по неумемному духу сродни шалой принцессе.

Сближение с умными людьми: Татищевым, Еропкиным, Хрущовым дало новое направление его мыслям. Он скинет Бирона, но не путем интриг, сомнительных амуров, а опираясь на смелое, вольнолюбивое шляхетство, которое сделало Анну самодержицей, защитив ее от верховников, а в благодарность получило бироновщину. Пора посчитаться за все надругательства, пора оградить свои права от наглости временщиков. Это свободолюбие загадочно и гармонично соседствовало в Волынском с планами личного возвышения. Однажды он публично пролил слезу, представив себе, как будет гордиться его сын величием отца.

Способный искренне вдохновляться всем, что может

принести ему выгоду, Волынский всерьез рассуждал с друзьями о необходимости государственного переустройства и законодательного утверждения прав дворянства, набрасывал разные прожекты, которые потом все оказались в руках Тайной канцелярии. В одном Волынский был до конца искренен, когда на допросе, на дыбе отказывался признать себя ниспровергателем. Он просто хотел куролесить над Русью, как Бирон. Чем он хуже?..

Благоприятели русского шляхетства что ни день собирались у Волынского, болтали языками, но ничего не делали для осуществления своих замыслов, даже не пытались приобрести сообщников среди дворян в армии или чиновничьей среде. Добились они лишь одного, по городу потек слух о заговоре. Поражает легкомыслие, доверчивость и безалаберность главных действующих лиц тех кровавых спектаклей, которые разыгрывались перед вечностью. Заговорщики то собираются в доме, полном слуг, и даже забывают притворить двери, то разглагольствуют в кабаках на радость осведомителям, то, пренебрегая перлюстрацией писем, открывают душу друзьям, знакомым, подругам в горячих посланиях, губя не только себя, но и своих адресатов; из-за жалких промашек проваливаются дерзкие планы, но порой столь же безответственные люди производят государственный переворот с ротой гвардейцев — легкомыслие противников превосходило их собственное.

Как ни беспечен и ни самоуверен был Волынский, но вскоре он почувствовал если не охлаждение, то настороженность императрицы. А потом Бирон откровенно дал понять, что против Волынского интригуют. Бирону нужно было иметь клеветов среди влиятельных русских, нельзя же опираться только на немецкую партию, но он напрасно полагал, будто Волынский годится на эту роль. Ублаготворенное, пусть и не насытившееся до конца честолюбие столкнулось со жгуче неудовлетворенным и потому непримиримым честолюбием. Волынский не внял предупреждению, а вскоре чем-то задел Бирона. Тот надулся. Волынский пренебрег обидой фаворита. Бирон увидел, что на Волынского рассчитывать нечего, тот ведет какую-то свою игру. Он принял это к сведению и холодно возненавидел кабинет-министра.

Друзья дали понять Волынскому, что он зарвался. Выход был один — вновь завоевать расположение Анны. Это было непросто: государственной заботой ее не проймешь, плевать она хотела на российские дела, когда ее

собственные так плохи. Желтая, мрачная, с жерновом в чреслах, лежала она на высоких подушках, изводя капризами заботливую Бенингну, то и дело гневалась на болтушек, которые от усердия языки себе обтрепали, и сажала их за пяльцы. Вместо «сорók» приказывала доставить гвардейских солдат с женами, они должны были плясать и водить хороводы. Но и это быстро надоедало, гвардейцам давали по бокалу венгерского вина и отсылали прочь. Шутов Анна Иоанновна видеть не могла, от них у нее начиналось разлитие желчи. Одного Педрилло изредка звали, чтобы поиграл на скрипке. Она еще отзывалась на неумную и ласковую веселость Бужениновой, и то ненадолго: «Куколка!.. Кукла!.. Пошла вон, надоела!..»

Волынский понял, надо измыслить какое-то небывалое увеселение, чтобы императрица встряхнулась, забыла о боли, взыграла духом и плотью, изобрести что-нибудь грандиозное — в Нероновом пошибе. Спать Петербург?.. На это могут не пойти, к тому же нет холма, с вершины которого хорошо наблюдать игру пламени, вся окрестность — плосина. Да и зима на дворе, значит, увеселение требуется в российском студеном роде, а в не в римском — жарком.

Волынский прикинул туда-сюда и поделился своими мыслями с друзьями.

— Давно бы так! — отозвались реформаторы. — Наконец-то очнулся. А чем ее удивить?

— Представляется мне санное шествие великое, — чуть неуверенно начал Волынский, но затем голос его налился, — всех народов, населяющих нашу землю, даже самых диких: самоедов, иргизов. И чтобы каждая народность в своем одеянии была, со своей музыкой. А сани будут запряжены и лошадьми, и верблюдами, и оленями, и собаками, и быками...

— Свињьями тоже, — подсказал молчаливый умный Хрущов.

— А кто на них ездит?

— Кто хошь. Нешто Анна, чем паче Бирон знают русские обычаи? А занятно!

— На свињьях Остерман с Левенвольде поедут, — предложил зодчий Еропкин.

— Не шуткуй, — одернул его лобастый серьезный Татищев. — На свињьях поедет тот, кто государыне не потрафил: дани не уплатил или бунташным делом баловался.

— Слона надо, — снова сказал Хрущов.

С этим все сразу согласились, хотя и не очень понимали, при чем тут слон и кто на нем поедет. Но слон — это величественно.

— Пусть восчувствует государыня, сколь необъятна ее держава, — вдохновенно продолжал Волинский, — сколько разных народов под ней ходит. Обольется ее сердце законной гордостью, и хворь отступит. Да и потешат ее нарядами, песнями, плясками и все эти уроды.

— А всежки этого мало, — пригасил его радость упрямый Татищев, всегда желающий добраться до последней сути. — Шествие — хорошо, да ведь оно должно куда-то прибыть. Не во дворец же их повезут.

— Эк куда хватил! — с досадой сказал Волинский. — Разведем костры на площади, выкатим бочку вина, цельных быков и кабанов на вертела насадим. А как нажрут-ся, прогоним домой.

— Не о сволочи всякой, о государыне речь, — веско сказал Татищев. — Ты ее, что ль, на площади потчевать будешь?

— Ладно, не тяни, — поморщился Волинский, догадавшийся, что головастый грамотей чего-то удумал.

— Ледяной дом нужен! — изрек Татищев.

— Дом?.. А зачем?

— Дом — это так говорится... Дворец весь изо льда — и снаружи и изнутри. И в этом ледяном дворце, за ледяными столами пир закатить, какого еще в целом свете не бывало.

— Смеешься, что ли? — неуверенно сказал Волинский. — Нешто можно такой дворец построить, и кто за это возьмется?

— Можно, — тихо и спокойно произнес зодчий Еропкин. — В нашем климате — и говорить нечего. Даже итальянцы ледяные капризы строят, а в такой морозище!.. Изо льда, Артемий Петрович, строить сподручней, чем из дерева, камня или глины. Он и режется легко и никакого крепежу не требует, окромя воды. Хочешь, я все в полном виде и плепорции изобразю?

Но когда через несколько дней Еропкин представил рисунок, изображающий весь дворец целиком, и чертежи его отдельных частей, Волинского снова взяло сомнение: неужто такое осуществимо? Еропкин заверил, что он может смело показывать проект государыне и коли она утвердит, то все будет исполнено до тонкости и даже

сверх того прелестнее. «Пойми, Артемий Петрович, — убеждал его Еропкин, — коли мы обманем государыню, ты выкрутишься, а ведь мне карачун». Последний довод убедил Волынского, который в своих жизненных расчетах полагался лишь на неизменные свойства человеческой природы: страх, корысть, зависть, мстительность — и никогда на благородные. Друг Еропкин сказал правду: коли с ледяным домом что будет не так, ему конец, если и не от Анны Иоанновны, то от самого Волынского. Ноздри рвут за меньшие провинности — за подстреленного рябчика или куропатку, ибо вся дичь принадлежит государыне — Диане-охотнице. Но за обман доверия помазанницы божьей ноздрями не откупишься.

Рисунки и чертежи Еропкина произвели на Анну Иоанновну куда большее впечатление, нежели Волынский мог надеяться. Ее серое обрюзгшее лицо порозовело и высветилось. А услышав о шествии народов, она чуть с кровати не соскочила. Она не выразила ни малейшего сомнения в осуществлении всего этого грандиозного и невиданного праздника и сразу назначила Волынского главой машкерадной комиссии. При всей своей проницательности Волынский не проглянул причины столь сильного воодушевления Анны Иоанновны. То была месть Кукленку, который в последнее время, ссылаясь на важные заботы, почти не приходил к ней. Зато Волынский не обманулся в благожелательном отношении Бирона к его планам: по немецкой сухости и отсутствию воображения тот не поверил в затею с ледяным домом и от души желал пошатнувшемуся кабинет-министру скорейшего падения.

Но теперь уже Волынский знал, что все будет: и ледяной дворец, и шествие народное, и даже слон, за которым послали к персидскому шаху. Немало соболей, куниц, песцов и горностаев потребовалось в уплату. Еропкин решил по зрелому размышлению поставить возле дворца второго слона — ледяного, и этот слон будет выбрасывать из хобота нефтяной огонь. Волынского опять взяло сомнение: в своем ли тот уме? Но глаза зодчего смотрели светло и ясно, и Волынский успокоился.

И все-таки апофеоз празднества, едва ли не превзошедшего все чудеса, придуманные Волынским и его штабом, родился в проснувшемся уме императрицы: шутовская свадьба. Куколка Буженинова уже не раз говорила со смехом, что ей осточертело в девках ходить, не хочет она помирать, не изведав сладости любви. Государыня

надсаживалась от хохота, слыша эти признания от грязной, засаленной, зубастой полукарлицы. Но когда Буженинова вновь завела свою погудку, Анну вдруг осенило: «За чем же дело стало? Кругом вон сколько кавалеров: и беленьких и черненьких». — «Я девица приличная, — возмутилась Буженинова, — теремного воспитания. Я в грехе не хочу. Чтобы все по божескому закону». — «О том и речь, выбирай себе жениха, враз окрутим, а свадьбу сыграем в ледяном доме». Буженинова вдруг как-то странно засмеялась, стала кувыркаться, дурачиться, притворяться сконфуженной. «Ладно, — решила Анна, — выдадим тебя за короля Самоедского, будешь мне как сестра». — «Да какой он король! — взвизгнула Буженинова. — Бродяга, протерь вроде меня. Нет уж, матушка, в сестры я тебе не прошусь, а вот княгиней быть очень даже желаю. Пойду только за Голицына, он твоей заботой один у нас холостяк». Бедный Михаил Алексеевич стоял так низко во мнении Анны, что она даже не сообразила, что речь идет о нем, и стала припоминать, какие Голицыны остались на виду. Один есть, но далеко за ним лезть. «Да ты, Куколка, с остатнего ума съехала. Нешто возьмет тебя президент юстиц-коллегии?» — «А ты дурее меня, матушка, — нахально отозвалась Буженинова. — Больно нужен мне твой президент, сама с ним целуйся. Я о нашем говорю, о Мишеньке, очень он мне по душе». — «О Кваснике?» — наконец-то сообразила Анна, и злое сердце ее возликовало: вот оно, последнее, ни с чем не сравнимое надругательство, которого так недоставало, — окрутить Гедиминовича с грязной полудуркой-камчадалкой. «Целуй руку, Куколка, быть тебе княгиней». Но какая-то жалость к этой дурехе шевельнулась в императрице. «Неужто тебе не противно?» — спросила Анна почти сочувственно. «А чего?.. Он мужчина видный... С положением, — закатывая глазки, ломалась Буженинова. — Да и ты, матушка, чай, не поскупишься — подбросишь на свадьбу деревеньку». И это понравилось Анне: Буженинова, конечно, хотела угодить ей, идя под венец с заплеванным слабоумным шутом, хотя Анна могла бы выдать ее за писаря, за попovichа и даже за офицера: дай ему повышение, крестик в петличку и «душек» — любой согласится. Но хорошо, что она сама назначила себе награду, не любила Анна быть кому обязанной, даже шутихе; все должны быть в долгу перед ней. «Быть по сему!» — государственным голосом изрекла Анна.

Узнав о жениховстве Квасника, Апраксин, Балакирев и король Самоедский увенчали его венком из капустных листьев, укропа и разных сухих трав. Голицын покорно принял дар и ходил в срамном венке, пока тот не рассыпался.

Распоряжение императрицы о свадьбе шутов удивило единомышленников Волынского неожиданной пронзительностью ленивого ума императрицы. Гуманная выдумка вызвала восхищение у доморощенных кромвелей, решивших положить предел своевластию русских монархов.

— Недаром у ней с Петром один корень! — умилился Еропкин.

— Какие они кровные, коли Петра Салтыков настрогал? — раздумчиво произнес Татищев. — Впрочем, от кого Анна, тоже неведомо.

— Стихотворение надобно, — заявил умный молчаливый Хрущов.

— Какое еще стихотворение? — Волынский никогда не мог уследить за извилистыми ходами его сокровенной мысли.

— Молодую чету славящее. В одически-высмеивательном роде. Зело непристойное. Императрица похабство любит, а гневается только для вида. Пиите ТрEDIAковскому сколько табакерок да перстеньков перепало!

— Сия поэзия в Европе анакреонтической прозывается, — важно сказал Татищев.

— Полегче! — предупредил Волынский, не любивший, чтобы перед ним заносились. — В Европе народ изнеженный, а нашему уху позабористей надобно. Ничего, Васька ТрEDIAковский справится.

Когда славно задумано, все идет к рукам. Затеял Анну развлечь и свое положение укрепить, а заодно вышло Голицыных чваный род в грязь втоптать, да еще с паршивцем ТрEDIAковским посчитаться. Волынский, гордившийся своим происхождением от героя Куликовской битвы воеводы Волынского-Боброка, все равно выходил ниже Гедиминовичей и не мог им этого простить. С ТрEDIAковским был иной счет. Еще со студенческих парижских дней поэт пользовался покровительством Куракиных, заклятых врагов Волынского. Кабинет-министр подозревал, что по наущению Куракина ТрEDIAковский написал на него гадостные вирши, имевшие хождение в Петербурге. Раболенствуя перед государыней и Бироном, ТрEDIAковский был весьма сварлив в Академии да и перед вельможами не всегда гнул спину. Раб уживался в нем с другим

человеком, знающим себе цену. Сейчас Волынский покажет, какая ему цена. Одно дело — развлекать императрицу виршами в анакреон... тьфу... роде, другое — публично прочесть похабную оду, славящую свадьбу пошлых шутов: сам себя в грязь втопчет, раздувшееся ничтожество!

И все же ни одно задуманное дело, даже если им правят такие сильные руки, как у Волынского, не проходит совсем гладко. Затруднения, самые порой неожиданные, возникали во все дни подготовки к празднеству. То сдох на полпути отправленный из Персии слон: сожрал с сеном каску и колет ратника, отряженного к нему в охрану. Как оказались в сене эти предметы? Конечно, можно было обойтись одним ледяным слоном, но Волынский любил каждое дело доводить до конца, тем паче, что сметливый Еропкин нарисовал дивную золотую клетку, в которой повезут шутов на слоне из храма в ледяной дом. Ратника забили и назначили другого, шаху выслали новые щедрые подарки, — мех черно-бурых лисиц, и второй слон благополучно прибыл в Петербург, вызвав легкое волнение в городе, быстро подавленное.

Немалые хлопоты доставило собрание по всей стране инородцев, входящих в Русскую империю. При первом беглом подсчете их оказалось такое множество, что голова пошла кругом. Решили, что обсчитались: одних и тех же узкоглазых зачислили по разным «ведомствам». Обратились в Академию, но оттуда прислали список чуть не вдвое больший. В Академии, если исключить Василия Триаковского, сидели одни немцы: что они в русских обстоятельствах понимают, им лишь бы свою ученость показать, а заодно создать помеху русскому делу. Этот список кинули в печь, а ранее составленный своим умом привели в надлежащий вид: так, всех насельников земель за Оренбургом и к югу зачислили в иргизы, всех, кто к Кавказским горам жметяся, — в абхазцы, жителей далеких восточных пределов — в якуты, сделав исключение для камчадалов в честь невесты Бужениновой, обитателей же моховых тундровых пространств — в самодеды. И все равно народов оказалось чуть ли не больше, чем во всей Европе: хохлы, чухонцы, мордва, черемисы, башкиры, калмыки, чуваша, вятичи, молдаване, татары, всех не перечесть.

Слон — существо нежное, избалованное, неудивительно, что первый посланец из Персии сдох в пути, хотя, казалось бы, что такое его необъятному желудку колет и

каска! Жители же Российской империи — народ закаленный, в дороге не портящийся, но и здесь случались накладки. Кто опился, кто какую-то дрянь сожрал и от живота изошел; у самоедов олени передохли — к нашей траве не приучены; иные до того запаршивели и обтрепались в дороге, что пришлось их в госпиталь класть на поправку и откорм, а платье новое по ихним образцам шить.

Но ни разу не пал духом Волынский, ни разу не мелькнуло у него, что не справится, — слишком велика была ставка. Если б такую энергию на дело пустить, то можно было бы осчастливить всех иргизов, абхазцев, якутов, самоедов и для внутренних народов еще бы осталось. Великую транжирку Анну Иоанновну не только не смущали, но радовали чудовищные расходы, она, не думая, подмахивала любой счет. Бирон, конечно, злился, что деньги текут мимо его кармана и в немалом количестве прилипают к ладоням великого казнокрада Волынского. Но тут герцог Курляндский заблуждался: Волынский впервые, имея дело с казенными суммами, не только ими не корыстовался, но и свои добавлял. Утешала Бирона лишь мысль о неминуемом позорном провале кабинет-министра.

Зима в тот год выдалась крепкая и без капризов. Неву как схватило льдом, так уж не отпускало. Снегу выпало в пропорции — достаточно для надежности зимников, но без завалов и непролазных сугробов. Не было ни вьюг, ни метелей, ничто не мешало спорому возведению ледяного дворца. Вопреки опасениям Волынского именно это, казалось бы, сложнейшее и ненадежное дело продвигалось без сучка и задоринки волей и умением Еропкина и безответной покорностью исполнителей. Рубили лед на Неве, тут же нарезали ровными плитами и на санках отвозили на площадь меж Адмиралтейством и Зимним дворцом, где надлежало стоять ледяному дому.

Еропкин говорил, что нету большего удовольствия, чем строить из льда: не нужно ни кирпича, ни камня, ни дерева, ни крепежного раствора, ни гвоздей, ни мрамора или гранита для отделки, ни кровельного железа или теса, ни жести для водостоков — только синеватый чистый лед из Невы и невяская вода.

В положенный срок поднялось ледяное сверкающее чудо. Его столько раз описывали в прозе и поэзии, изо-

бражали на картинах и рисунках, что нет запала с видом первооткрывателя шагать в чужой, глубоко втоптаный след. Лучше я приведу два старых текста, из которых первый замечателен своим старинным красноречием, а второй — суховатой точностью.

Вот что писал член Санкт-Петербургской Академии наук, физик, профессор Георг Вольфганг Крафт, коллега Тредиаковского, предваривший свои восторги упоминанием о том, что лед — малоупотребительный материал, до сих пор из него делали лишь в Италии оконницы, стаканы и зажигательные стекла; последним занимался прославленный французский физик Мариотт.

«Здесь, в Санктпетербурге, художество гораздо знатнейшее дело изо льда произвело. Ибо мы видали из чистого льда построенный дом, который по правилам новейшей архитектуры расположен, и, для изрядного своего вида и редкости, достоин был, чтоб, по крайней мере, таковож долго стоять, как наши обыкновенные дома... На сем месте (между двумя весьма достопамятными строениями, а именно — между созданною, от блаженные и вечностойныя памяти императора Петра Первого, адмиралтейскою крепостью и построенным, от блаженныеж и вечностойныя памяти государыни Анны, новым зимним домом, который для своего великолепия, достоин всякого удивления) началось строение, самый чистый лед, наподобие больших квадратных плит, разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкою размеривали, рычагами одну ледовую плиту на другую клали, и каждый ряд водою поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом, через краткое время построен был дом, который был длиною 8 сажен, или 56 лондонских футов, шириною в 2 сажени с половиной, а вышиною, вместе с кровлею, в 3 сажени; и гораздо великолепнее казался, нежели когда бы он из самого лучшего мрамора был построен, для того, что казался сделан быть будто бы из одного куска, а для ледяной прозрачности и синего его оттенка на гораздо дражайший камень, нежели на мрамор подходил».

А вот другой отрывок, представляющий из себя пересказ профессором Шубинским какого-то старого текста:

«Архитектура дома была довольно изящна... Кругом всей крыши тянулась сквозная галерея, украшенная столбами и статуями, крыльцо с резным фронтисписом вело в сени, разделяющие здание на две большие комнаты,

сени освещались четырьмя, а каждая комната пятью окнами со стеклами из тончайшего льда. Оконные и дверные косяки и простеночные пилястры были выкрашены зеленою краскою под мрамор. За ледяными стеклами стояли писанные на полотне «смешные картины», освещавшиеся по ночам изнутри множеством свеч. Перед домом были расставлены шесть ледяных трехфунтовых пушек и две двухпудовые мортиры, из которых не раз стреляли. У ворот, сделанных также из льда, красовались два ледяных дельфина, выбрасывающие из челюстей с помощью насосов огонь из зажженной нефти. На воротах сидели ледяные птицы. По сторонам дома, на пьедесталах с фронтисписами, возвышались остроконечные, четырехугольные пирамиды. В каждом боку их было устроено по круглому окну, около которых снаружи находились размалеванные часовые доски. Внутри пирамид висели большие бумажные восьмиугольные фонари, разрисованные «всякими смешными фигурами». Ночью в пирамиды влезали люди, вставляли свечи в фонари и поворачивали их перед окнами, к великой потехе постоянно толпившихся здесь зрителей. Последние с любопытством теснились также около стоявшего по правую сторону дома ледяного слона в натуральную величину. На слоне сидел ледяной персиянин, двое других таких же персиян стояли по сторонам. «Сей слон, — рассказывает очевидец, — внутри был пуст и хитро сделан, что днем воду на двадцать четыре фута пускал, ночью, с великим удивлением всех зрителей, горящую нефть выбрасывал. Сверх ж того, мог он, как живой, кричать, который голос потаенный в нем человек трубою производил».

Внутреннее убранство дома вполне соответствовало его оригинальной наружности. В одной комнате стояли: два зеркала, несколько шандалов, большая двуспальная кровать, табурет и камин с ледяными дровами. В другой комнате были: стол резной работы, два дивана, два кресла и резной поставец, в котором находились точеная чайная посуда, стаканы, рюмки и блюда. В углах этой комнаты красовались две статуи, изображавшие купидонов, а на столе стояли большие часы и лежали карты с марками. Все эти вещи, без исключения, были весьма искусно сделаны изо льда и выкрашены «приличными натуральными красками». Ледяные дрова и свечи намазывались нефтью и горели.

Кроме этого, при Ледяном доме, по русскому обычаю, была выстроена ледяная баня...

Народ петербургский сам себе не верил: неужто и впрямь стоит посреди города это диво дивное? Едва продрав глаза, до дел, до присутственной тятоты и потной работы, до ссор и дразг, до уныния и слез, до всего, чем томителен день маленького человека, бежали к Адмиралтейству. Вот он! В морозной синеве, под негреющим ярким солнцем сверкает гигантский золотой слиток. И едва ли не еще краше был он ночью, под месяцем, исходя серебристо-зеленоватым свечением. И, отмораживая себе носы и ноги, петербуржцы вздыхали, что, увы, не вечна эта красота, истечет мутноватой влагой с веем апрельских ветров.

А придворные что ни день парились в ледяной бане, и даже матушка-государыня раз пожаловала со всем причтом болтушек, фрейлин, шутов и арапчат. Сама Анна Иоанновна дальше предбанника, где шуты сразу затеяли обычную возню, не пошла, а болтушек париться заставила. Пару поддавал кваском Голицын-Квасник, которого за мужчину не считали, хотя ему предстояло скорое бракосочетание, а нахлестывала белые задницы сердитым можжевелевым веником Буженинова. А вот ее саму заставить попариться оказалось делом невозможным. «Ну, Куколка, попарься, хоть перед свадьбой смой коросту», — тщетно нудила Анна Иоанновна. «А я ему и так хороша!» — в сознании своей неотразимости отмахивалась грязнуля Буженинова. Анна Иоанновна покатывалась со смеха. Она и сама не злоупотребляла омовениями, ибо возлюбленный ее предпочитал крепкие запахи, но все же перед свиданием с ним протираала лицо и шею французской ароматной водой, румянила щеки, сурмила брови. А Буженинова вечно ходила чумичкой, лицо от пота и жира нефтью отливало, руки были как у арапки. Но безгливости к ней государыня не испытывала.

Словом, все шло к триумфу Волынского. В последний момент чуть не подгадил придворный стихоплет, дутое ничтожество Васька Третьяковский. В канун праздников стихов не представил, а вызванный для объяснения нагло заявил, что он-де Академии наук секретарь, первый российский поэт и негоже ему воспевать шутовскую свадьбу. Он поет императрицу и великия ее деяния, славу русского оружия и виктории, венчающие все войны россиян. Ну, Волынский показал ему славу русского оружия и виктории россиян — так отделал палкой, что тот еле ноги увес. Но не домой, чтобы за вирши сесть, а к Бирону — жаловаться. Волынский случайно наткнул-

ся на него в прихожей герцога Курляндского. Тут уж он всерьез принялся за наглеца, бил его в рыло и в душу, топтал ногами, и не помогло российскому Анакреону, что на вопли его вышел Бирон. «Прекратите!.. Здесь вам не конюшня!» — «Конюшня и есть!» — дерзко ответил Волинский, терявший в ярости всякую осмотрительность, и выдал Академии секретарю еще и за Бирона. После чего отвез его в караулку, где поэта добавочно наказали по строгому воинскому уставу, хотя тот в военной службе сроду не состоял. «Чтоб были вирши!» — приказал Волинский, когда страдальца укладывали на шинельку, чтобы отнести домой.

И, конечно, на другое утро вирши были представлены, и, хотя Волинский не считал себя большим знатоком поэзии, он понял, что Третьяковский постарался на славу. «Ведь можешь, коли захочешь, — сказал он милостиво. — Истинная поэзия рождается под палками». И велел подать поэту большую рюмку водки, соленый огурец и машкеру, ибо на распухшем лице Третьяковского отчетливо проступали сквозь густой слой пудры лиловые, синие и багровые следы избиения, срамно в таком злом виде на ассамблею являться.

Волинский отделал поэта столь беспощадно не за малое неповиновение — тут и десятка пинков хватило бы, — а за проглянувшее в жалком бунте пренебрежение к нему, еще не списанному со счетов сановнику. Наслушался вздорных разговоров у покровителя своего Куракина, вот и обнаглел. Ладно, еще посмотрим, чья возьмет.

И пришел день великого торжества Волинского, апофеоза самодержавной власти, не ведающей предела в надругательстве над человеческой сутью.

Поначалу все шло благопристойно: шутов венчали в церкви обычным порядком, и не было в них ничего смешного или недостойного: ни в невесте, которую заставили вымыть лицо и руки, нарядили в белое подвенечное платье и всю увешали драгоценностями — не покупалась императрица в такой значительный и веселый день на щедрейшие подарки Куколке, — ни в представительном, даже сановитом Кваснике, одетом по последней парижской моде. Правда, те, кто оказывался к нему поближе, слышали, как он бормотал в пустоту: «Гм, похоже на свадьбу, но где жених?» — «Ты жених и есть», — говорили ему. Он наклонял голову в хорошо расчесанном



и крепко державшемся парике, задумывался, шлепая губами, потом сипел: «Я, государи мои, в некотором роде женат... Я не могу обманывать даму».

Придворные были в восторге — Квасник превзошел самого себя, и жаль, не было в церкви квасу, чтобы плеснуть в задумчиво-серьезную гладко выбритую рожу. Но государыня не велела задевать его в этот день, все должно идти по разработанному Волынским ритуалу.

Уже перед аналоем Голицын обернулся к Бужениновой: «Сударыня, не имею чести вас знать, тут какое-то недоразумение...» — «Ничего, батюшко, успокойся, — перебила шепотом Буженинова. — Не труди голову, все по-божески. Ты человек свободный, а сейчас нас господь соединит». — «Вы так полагаете, сударыня?» — произнес Голицын, и рот его некрасиво приоткрылся, как у судака, выброшенного на берег, и уже не закрывался во все время службы, хотя Буженинова толкала его в бок: «Закрой хлебало, батюшко, ведь перед богом стоишь». Он даже на вопрос священника ответить не мог, и нетерпеливое «да» бросил за него посаженный отец Бирон. Голицын снова провалился в ту бездну, где роились, не обретая отчетливого образа, тени не событий даже, а воспоминаний о какой-то жизни, то ли прожитой им, то ли пригрезившейся, то ли рассказанной ему в незапамятные времена. Он никак не мог разобраться в этом мельтешении красок и линий, в уколах необъяснимой боли, в тоске, сжимавшей сердце, и в чем-то ином, противоположном, чему он не помнил названия, просившем улыбки, но рот будто затвердел в уголках губ, когда ему впервые плеснули квасом в лицо, и не умел растягиваться.

Кольцо невесте Голицын тоже не смог надеть, ибо принадлежащее внешнему миру не пронизывало сгустившийся в нем хаос. Его выручила Буженинова, она так ловко просунула палец в кольцо, которое он бессмысленно держал в руке, что никто не уловил замешательства.

По выходе из церкви молодых посадили в большую позолоченную клетку, дюжие молодцы водрузили клетку на спину слона, и под крики, свист, улюлюканье толпы они двинулись во главе растянувшейся чуть не на версту процессии мимо Зимнего дворца, куда уже успела вернуться государыня со свитой, к манежу герцога Курляндского. Как ни затейливо и ни фантастично было зрелище медленно и широко шагающего по заснеженным улицам Петербурга слона и качавшейся на его спине золотой клетки, где, судорожно вцепившись в прутья, таращились

перепуганные молодые, шествие народов было еще ошеломительнее. Разноплеменные поезжане в национальных праздничных костюмах ехали парами, кто на оленях, кто на маленьких, с длинными гривами лошадаках, кто на статных рысаках, кто на верблюдах, кто на ослах, кто на собаках, кто на козах, кто на свиньях, каждый со своей музыкой, игрушками и символами, ехали в санях, сделанных в виде зверей, птиц, рыб и ярко раскрашенных.

Волынский, убедившись, что Татищев и один может наблюдать порядок шествия, поспешил во дворец, где тепло укутанная Анна любовалась процессией с балкона. Его поразило лицо государыни: обычно серо-желтое, оно пылало, словно раскаленное гневом, и кабинет-министр испугался, что чем-то не угодил ей. Анна не обернулась, когда он вошел, и, только заметив Волынского возле себя, схватила за рукав.

— Петрович, говори... Слышь, говори, кто такие... про всех... в подробности!

Анна Иоанновна была потрясена. Впервые ее сонную, отзывавшуюся лишь одному человеку да пустому баловству душу прожгло сознание, какой великой, необъятной страны поставлена она повелительницей. Что знала она в России: Москву, Петербург да тракт между двумя столицами, поразивший ее своей протяженностью и пустотой вокруг; знала она, что есть в этой стране очень далекие земли, их называли Сибирью и туда ссылали неугодных и проштрафившихся, но где они, эти земли, не представляла и не любила о том думать. Где-то там, где холодно, пусто и скучно. А она жила в тепле, свете, окруженная людьми, предупреждающими каждое ее желание. Анна знала, конечно, что есть и другие края, не только холодные, ночные, но и солнечные, теплые, Малороссия хотя бы, есть великие реки, а на них города, есть много всяких губерний, где сидят губернаторы и воруют, за что их ссылают в Сибирь, но другие, поставленные вместо них, воруют ничуть не меньше. Это было для нее Россией, но это не было Россией, как она сейчас поняла. Святой боже, сколь же необъятно пространство российской державы, можно ли объехать его хоть за целую жизнь, и как же различны всем видом и обиходом племена, эту необозримость населяющие! Цвет волос, разрез глаз, крепь скул, не говоря уже об одежде, все было у них разное.

Цепко усвоивший все наставления Татищева, Волынский почтительно и уверенно, как подобает государственному деятелю, все знающему о народной жизни, сообщал

Анне Иоанновне краткие, но исчерпывающие сведения о всех «разноязычных и разночинных» поезжанах, следующих мимо Зимнего дворца. Анна Иоанновна только охала.

— Надо же, и такие водятся!

— Гляди-ка, совсем как живые!

— Как только ты их всех в голове удержишь!

— Ах, батюшки мои, какие халаты! А шапки! Живут же люди!

— Неужто все мои подданные? Ох, утешил и распо- тешил!

И когда скрылись последние сани, она сказала дру- гим, глубоким голосом:

— Спасибо тебе, Артемий Петрович, за мою Рос- сию! — и протянула ему руку для поцелуя.

Волынский грохнулся на колени, а Бирон с досады перекусил черенок трубки.

Пока поезд народов многих объезжал все главные пе- тербургские улицы, царица успела переодеться. Сверкая бриллиантами, пенясь брюссельскими кружевами, в рос- кошном платье, выписанном из Парижа, рослая и величе- ственная, Анна прибыла в манеж со своей свитой, когда поезжан уже разместили за длинными дубовыми стола- ми. Царице и чете Биронов был накрыт отдельный стол, сюда же в знак особой милости поставили прибор для Волынского — отличие сугубо платоническое, ибо cere- мониймейстер праздника лишь раз приблизился к столу, чтобы выпить кубок за здоровье Ее Императорского Ве- личества.

Виновники торжества были усажены неподалеку за отдельным столиком. О них едва не забыли в суматохе и выпустили из клетки, когда они почти одеревенели от холода.

Стол� поезжан были установлены так, что государы- ня могла беспрепятственно наблюдать за ними. Они сиде- ли парами и ели свои национальные блюда: от сырой мороженой рыбы, любимого лакомства самоедов, до теп- лого жирного иргизского пилана, который берут руками из казана, медного таза с крышкой, и раскаленного, с углей абхазского шашлыка на острых пиках. Еду каждая народность заливала своим напитком: водкой, горилкой с перцем, вином, пивом, кумысом, зеленым чаем и другим чаем, который готовится с мясом и жиром, — админист- ративный гений Волынского учел все вкусы и запросы.

Буженинова отдышалась первой. Она поглядела на

мужа, пребывавшего в нетях: погасла от тряски, страха и холода последняя искра, порой озарявшая его омраченный рассудок. «А хорош!» — восхитилась Буженинова. Лицо просторное, лоб высокий, нос как выточенный. Вот что значит порода. Чего с ним ни творили, а кровь-то сменить не могли, древнюю голубую кровь Голицыных. Вон Кукленок пыжится изо всех сил, играет во владетельного князя, а все равно прет из него паршивый курляндский выскочка. Господи, достался же такой аристократ безродной камчадалке, которая и родителей своих не знает, как не знает, почему их занесло на Камчатку! Ее ведь только считают камчадалкой, а она русская, это же сразу видно. Помнила Буженинова себя уже побирешкой, ютившейся по чужим углам, помнила здорового бородатого мужика в медвежьей шубе и волчьем малахае, который пожалел сироту, забрал с собой в большую Россию, пристроил в услужение к «добрым» людям, мэрившим ее голодом. А потом чистой случайностью попала она в дурки Анне Иоанновне. Но Буженинова не любила думать о прошлом, о настоящем думать незачем, в нем надо жить с толком, а вот о будущем мечтать стала, когда увидела князя Голицына. Мечтать никому не возбраняется, и камчатская нищенка, запечный сверчок, возмечтала о князе. Она давно уже решила попросить у Анны его в мужья, знала, что та не откажет по лютой злобе своей на Голицына. Конечно, она и вообразить себе не могла и в самых крылатых мечтах, что ради ее замужества возведут ледяной дворец, навезут народ со всей русской земли, закатят невиданный пир и вся знать, сама государыня будут гулять на ее свадьбе.

Пусть все это для потехи задумано, да поженили-то их не в смех, а по закону, в святой церкви, сам преосвященный венчал. И смеется хорошо тот, кто смеется последним. Волынский вон как распетушился, а все равно Кукленок ему голову скусит. И Кукленка, в свой черед, скovyрнут или кончат, как только государыня загнется. А от нее уже гнилью несет. Так они все друг друга перепластают. И чего им охота на верхушку лезть, нешто кто на ней удержался? Сами они шуты гороховые, хуже тех, что в лукошках сидят. А эти — в халатах, тубетях, малахаях, портах широченных, — нешто они не в смех сюда созваны? Значит, тоже шуты. Хоть их за столы усадили в одном лошадином дворце с государыней, которая и сама-то лошадь — отгарцевавшая, запаленная, разбитая на все четыре ноги. Сейчас поезжане жрут,

пьют, орут, хохочут, после отпоют, отпляшут, а вот доберутся ли домой — неведомо. Волынский-нехристь их не повезет. Конечно, которые с Севера на оленьих и собачьих упряжках, глядишь, доползут, они ведь, на ком едут, тех и жрут помаленьку в дороге, а которые на верблюдах, или на волах, или на свиньях, с теми хуже: или жрать, или ехать. Об остальных и говорить нечего: морозы все круче заворачивают, добреди-ка до Сибири, до Камчатки. Так и останутся их косточки на белых просторах.

Громкие крики «Виват» прервали раздумья Бужениновой, это Волынский провозгласил тост во здравие императрицы. Буженинова подтолкнула супруга и вскочила на свои короткие ножки. Когда улеглись восторги, Волынский по знаку Анны предложил выпить за здоровье молодых. И все гости захохотали, закричали: «Горько!» Голицын не двинулся, словно все это его несколько не касалось, но Буженинова быстро подскочила к нему и как клюнула в вялые губы.

Голицын словно очнулся, провел пальцем по губам.

— Я, кажется, забылся, — просипел он. — Пожалуйста, не сердайте.

И тут возникла грузная фигура в красном домино и черной маске с огромным приставным носом. Волынский хлопнул в ладоши, призывая к вниманию. Домино откашлялось и начало каким-то напряженным и словно придушенным голосом:

Здравствуйте, женившись, дурак и дурка,
Еще... тот и фигурка!
Теперь-то прямое время нам повеселиться,
Теперь-то всячески поезжанам должно беситься.

— Кто это? — спросил Голицын. — Похоже на Третьяковского. Его голос. Почему он в маске?

— А ему намедни Артемий Петрович всю морду искрошил.

— Бедняга... — прошептал Голицын.

Квасник-дурак и Буженинова
Сошлись любовью, но любовь их гадка,
Ну, мордва, ну, чуваша, ну самоеды,
Начните веселье, молодые деда!

Было тихо. Вирши, выбитые кулаками и дубинкой из Третьяковского, никого не веселили. «Молодые деда»

просто их не понимали, а придворным, знавшим, почему поэт напялил уродливую маску и красное домино, было не до смеха. Очень легко было представить себя на месте этого российского академика, если Волынский войдет в силу. Невольно вспоминался князь Мещерский, которого Волынский в пору своего астраханского губернаторства подверг невиданному кровавому истязанию. Кабинет-министр покусывал губы, утешая себя мыслью, что он прикончит Третьяковского, если тот не вызовет хотя бы улыбки на почерневшем от усталости лице императрицы.

Балалайки, дудки, рожки и волынки!
Соберите и вы, бурлацкие рынки.
Ах, вижу, как вы теперь рады!
Гремите, гудите, брячтите, скачите,
Шалите, кричите, пляшите!
Свищи, весна, свищи, красна!
Не возможно нам иметь лучшее время:
Спрягся ханский сын, взял ханское племя,
Ханский сын Квасник, Буженинова ханка.
Кому того не видно, кажет их осанка.
О пара! о не стара!
Не жить они станут, но зоблить сахар,
А коли устанет, то будет другой пахарь.

И тут государыня громко прыснула, представив себе, как обогатит красавица Буженинова сиятельного шу-та — своего мужа.

Смех государыни подхватили придворные, стараясь перещеголять друг друга в усердии, даже сумрачный Бирон пофыркивал, прикрывая рот кончиками пальцев. Видя веселость государыни, возликовали поезжане. Шум стоял такой, что Третьяковский вынужден был прервать чтение. Он и сам чувствовал, что тут муза улыбнулась ему, хорошо было завернуто, но все-таки он не ожидал такого триумфа. Он готов был простить все — и побои, и унижения — Волынскому за то, что тот дал ему подняться на вершину мастерства и успеха. Закончил он звучным голосом:

И так надлежит новобрачных приветствовать ныне,
Дабы они во все свое время жили в благостыне:
Спалось бы им да вралось, пилось бы да елось.
Здравствуйте ж, женившись, дурак и дурка,
Еще... тот и фигурка!

— Мало его в бурсе секли, — уловила Буженинова сквозь восторженный рев пирующих.

Голицын низко нагнулся над столом, из карего, большого, полного глаза медленно выкатилась слеза и, прочертив дорожку по щеке, скатилась в тарелку. А ведь он понял, что это о нас, захолонуло в Бужениновой. Значит, понимает, что мы повенчаны. И острая жалость к этому беспомощному человеку пробилла ее. Она налила в бокал водки и подала Голицыну.

— Выпей-ка, батюшко, авось полегчает.

Он послушно взял бокал и неторопливо, словно воду, осушил его маленькими глотками. Затем протянул руку, уверенно наполнил бокал, выпил, еще раз наполнил и снова выпил. Буженинова с некоторым испугом следила за его действиями: хорошо, если маленько очумеет, не надо, чтобы сегодня чересчур многое открылось ему, время для этого еще придет. А ну как, отвычный от вина, он свалится, как бы чего дурного над ним не учили.

Но выпитое подействовало на Голицына благотворно: приоткрывшееся в грязных виршах Третьяковского задержалось непроницаемым пологом вместе со всем, что являло собой его нынешнее положение, а взамен явилось, хотя и оборванное, смутное представление о чем-то хорошем, что некогда с ним было, он не трудил тяжелую голову попытками принудительных уточнений, довольствуясь тенью радости.

— Простите, сударыня, что не представился. Князь Голицын. Не соблаговолите ли назвать ваше имя?

— Княгиня Голицына, Авдотья Ивановна.

— Какое совпадение! — обрадовался князь. — Вы из каких Голицыных?

— Из самых лучших. — Бужениновой стало не по себе, хотя она знала, что опять в нем что-то повернется и он забудет об этом разговоре, как уже забыл о поганных виршах Третьяковского. А забыл ли?.. Это водочный туман застит ему память. Он не безумный, как думают многие, но, трезвый или пьяный, он скрывается в своей темноте, чтобы не помнить, не знать, что происходит с ним. — Я по мужу Голицына, — добавила Авдотья Ивановна.

— Голицыны роднились со многими знатными родами России, — любезно заметил князь. Маленькая, красиво одетая, вся в бриллиантах дама с высокой грудью и живым чернобровым лицом ему нравилась, даже чуть вытирающие верхние резцы не портили впечатления, напротив, придавали ей некий возбуждающий интерес. Он дав-

но так приятно не беседовал. — Вы случайно не урожденная Салтыкова?

— Нет.

— Шаховская?

— Нет.

— Оболенская?

— Нет.

— А кто же вы?

— Урожденная Буженинова, — глядя ему прямо в глаза, сказала Авдотья Ивановна.

Он долго молчал, что-то онять перестраивалось в нем, пытаюсь завязать новые связи, но эта работа оказалась ему не по силам.

— Это не дворянский род, — сказал он угрюмо. — Я знаю одну Буженинову. Другие небось не лучше.

— А чем она тебе плоха, батюшка? — улыбнулась Авдотья Ивановна.

— Черна, грязна... — Он передернул плечами и потянулся за бутылкой.

Буженинова перехватила его руку и отодвинула бутылку. Голицын настаивать на своем прежде не больно умел, а потом при дворе вовсе разучился.

— Не говори, батюшко, чего не знаешь, у ней все чисто, — защитила шутиху княгиня Голицына.

На этом разговор молодых оборвался. Анне надоело застолье, она возжаждала новых впечатлений. Начались пляски. Многоязычные пары поочередно исполняли свои национальные танцы. У северян пляски были похожи на борьбу и охоту; иргизы под однообразные завораживающие звуки большого бубна то поврозь плыли над землей, то, сходясь, вились друг вокруг дружки, будто косу сплетали из своих тел; черные, усатые, с тонкими ногами абхазцы семенили на подогнутых носках мягких козловых сапог, размахивали широкими рукавами, хватались за кинжалы — нагнали страху; малороссы грохотали гопаком, русские рассыпали бисер дробцов. Императрица, отяжелевшая после обеда, снова развеселилась, еще раз допустила Волынского к руке, приголубила омраченных Биронов, а Третьяковского пожаловала золотой табакеркой.

Затем молодоженов схватили под микитки, втолкнули в позолоченную клетку и водрузили, едва не грохнувшись, на спину слона. Поезжане опять распределились по своим саням, а императрица с придворными сели в кареты, и все отправились к ледяному дому.

Пучки огня вылетали из отверстой пасти дельфинов и загнутого кверху хобота слона, и переливчатые отсветы проскальзывали по голубизне ледяных стен. Высвеченные «смешные» картины в пирамидах вертелись, не надоедая громадной заиндевелой толпе. Появление новобрачных и сопровождающего их кортежа исторгло надсадный вопль из тысяч застуженных глоток.

Молодых со всякими дурацкими церемониями уложили на ледяную кровать. К наружным дверям поставили караул, чтобы счастливая чета не вздумала раньше времени покинуть свое уютное гнездышко. В отношении новобрачного то была излишняя предосторожность: непривычный к вину, Голицын был пьян до бесчувствия, его внесли в опочивальню. Все понимали, что ночь в такой студии не пережить, но это никого не волновало, и даже государыня не шевельнула пальцем для спасения своей любимой Куколки. Зато она сделала другой жест, который сильно огорчил собравшихся. В сени дворца втащили вместительный короб, и Анна Иоанновна швырнула туда жемчужное кольцо. С вымученными улыбками дамы стали кидать в короб серьги, брошки, браслеты, кольца; мужчины — драгоценные табакерки, бриллиантовые булавки для галстука, золотые монеты. Всех, конечно, интересовало, кто воспользуется этими дарами, поскольку было мало вероятия, что новобрачные встанут ото сна. Но никто не заметил, как исчез короб. Предусмотрительная Буженинова, зная, что будет одаривание, доверила сокровища попечению шута Педрилло, настоящего разбойника, но с чувством чести. Пьетро Мира мог ограбить самого папу, но у своего полушкой не попользуется.

Анна Иоанновна, одарив «обреченных смерти», поспешно отбыла, гонимая начинавшимися коликами; придворные, перестав источать вымученные улыбки, вздыхая, отправились восвояси, поезжан прогнали спать, народ столичный тоже разошелся по домам, дождавшись, когда слон и дельфины в последний раз полыхнут горячей вонючей нефтью; часовые, хватившие для угрева по кружке спирта, замерли возле дверей и сами обернулись ледяными статуями; все погрузилось в тишину и мрак, лишь, отражая свет ущербного месяца и вознесшихся звезд, поблескивала громадная и страшная игрушка, которой по молчаливому стовору сильных и согласию всех остальных предстояло быть саркофагом двух несчастных людей.

Но одно существо не присоединилось к губительному согласию, совсем крошечное существо, почти карлица, с детскими руками и ногами, с большим и сильным сердцем любящей русской женщины — Авдотья Ивановна Голицына.

До этого места история бедного Михаила Голицына-Квасника и шутихи Бужениновой общеизвестна и уж, во всяком случае, общедоступна, а вот что было дальше, знают совсем немногие. Полагаю, что это должны знать историки, занимающиеся эпохой Анны Иоанновны, и те беспокойные чудаки, которые, заинтересовавшись чем-либо, доходят «до упора», до самой сути.

Итак, Авдотья Ивановна не собиралась умирать в ночь, когда всходила ее звезда, впрочем, за себя она вообще не боялась, ее маленькое тело было наполнено горячей и быстрой кровью, которой не страшна никакая стужа, но надо было оборонить любимого.

У молодых были постели: мягкие тощие тюфячки, простыни, подушки и большое пуховое одеяло. В натопленной горнице, может, и жарко бы показалось, особенно вдвоем, но здесь и тюфячок, и одеяльце не защита. Авдотья Ивановна попробовала растолкать мужа, но тщетно. Был он тяжеленек и в ответ на все усилия лишь всхрапывал да шевелил губами. Она вышла в сени, приоткрыла незапертые двери и выглянула наружу. Часовые застыли с ружьем на плече. «Будто государственных преступников стерегут, — усмехнулась про себя Авдотья Ивановна. — Неужто им палить велено?» Приглядевшись, она поняла, что воины спят вполглаза. Она столько лет обреталась при дворе, что изучила привычки и повадки всех к нему причастных и знала это умение бывалых солдат спать на часах с полуприкрытыми глазами и просыпаться от малейшего шума, от мышьего шороха. Их командиры тоже знали эту особенность и не раз пытались накрыть караульных, подкрадываясь к ним на цыпочках, но никогда не имели успеха. В последнее мгновение часовой возвращался в явь, и вся его фигура обретала напряжение чуткой готовности. Конечно, в каждом деле не без прорухи: дворцовые легенды сохранили память о выроненных ружьях и даже о грохнувших на пол ратниках. Выпавшее из рук оружие предсказывало военную конфузию, татарский набег или объявление войны, падение стражника — смерть в царствующем доме.

Спящие у ледяных дверей воины крепко держались на ногах, а ружья словно примерзли к плечу. Поступь крошечной Авдотьи Ивановны была легче мышью. Она проскользнула между караульными и побежала к будке. Растолкав подвыпившего унтера, она за колечко с камешком получила на ночь овчинный тулуп. С этим тулупом она опять прошмыгнула между стражниками и вернулась к своему мужу.

Авдотья Ивановна раздела его и укрыла тулупом. Сама разделась тоже и подсунулась под него. Тулуп натянута так, что они скрылись в нем, как в пещере. Тело ее было горячим, и особенно горячи маленькие руки, которыми она терла мужу спину, бока, шею. Он быстро согрелся, а когда Авдотья Ивановна задремала, удивленная, что чужое тяжелое, неповоротливое тело так легко ей, то продолжала безотчетно растирать его...

Михаил Алексеевич проснулся в душной, давящей темноте, рванулся из нее и скинул тулуп. В окошки процеживался рассеянный, не рождавший четких очертаний свет. Такой размытый свет льется в комнату в морозный день из окон, покрытых наледью. Он ощутил холод и тут понял, что вокруг все ледяное: и стены, и пол, и потолок, и окошки. Это открытие не осталось в Голицыне, оно вытеснилось другим: с ним произошло необыкновенное, когда-то испытанное, но потом исчезнувшее не только из жизни, но даже из памяти и воображения. Он не мог понять, что это было, но тело знало об испытанной радости и сообщило свое знание рассудку. Теперь он видел, что не один в ледяной комнате: в постели лежало маленькое существо, нагое, белое, женское. Он задрожал, опустелый мозг пронзило множеством стрел, причиняя острую, колющую боль, и каждая стрела тянула за собой нить; эти нити сплетались, перепутывались, но и создавали связи.

— Вы кто? — спросил тихо.

— Жена твоя, родимец, княгиня Голицына.

Перепутанные нити вдруг разобрались, натянулись — не все, но многие, он мог прочесть их узор.

— Но вы... Ты была другая... смуглая.

— А теперь белая. А о смуглой лучше забудь. Ты о многом забыл, чуть не обо всем. Так вот, об этом лучше не вспоминай. И вообще не вспоминая, живи, чем есть, потом все само соберется.

Голицын слушал, и что-то находило в нем смутный отзвук, а что-то отскакивало. А женщина, жена, была

перед ним в своей доверчивой наготе, и его плоть оказалась умнее смятенного духа, он наклонился к ней. Закрытыми глазами Авдотья Ивановна увидела, как в ледяное окно, не взломав его, влетел белый ангел.

А когда оба опаматовались, Голицын с тупым упорством сказал:

— Та черная.

— Кто такая? — не поняла Авдотья Ивановна.

— Бу... бу... — Он не мог выговорить противной клички.

— Э, родимец, черного кобеля не отмоешь добела, а белого проще нету запачкать. Такая служба. Ты ведь тоже не такой, как есть, потому — служба.

Разбудив плоть князя, Авдотья Ивановна принялась создавать ему новую душу, потому что от старой у князя немного осталось. Но делать это надо осторожно, чтобы не скрылся он опять в раковину безумия.

— Служба? — бессмысленно повторил Голицын.

— Конечно, служба. Дворцовая. Выгодная, только ты пользоваться не умеешь. Ты да Волконский. Многие такой службе позавидуют. Но она не для тебя и не для меня... теперь. Потерпи, у нас вся жизнь впереди.

— Жизнь? — повторил Голицын с ужасом. — Разве это жизнь?

— Я не об этой жизни говорю. О другой, новой. Теперь уж недолго ждать. А потом у нас с тобой все будет не хуже, чем у людей.

Они едва успели одеться, как явился унтер за тулупом.

— Ты того... помалкивай, — предупредил он Авдотью Ивановну. — Не то мне башку снимут.

— Не бойсь, — сказала Авдотья Ивановна.

— Не бойсь, не бойсь, — проворчал унтер, который, видать, не успел опохмелиться и был в дурном настроении. — А может, требовалось, чтобы из вас ледяной статуей вышел.

— Очень даже может, — согласилась Авдотья Ивановна.

— Ладно, выметайтесь, — вздохнул унтер. — Никаких распоряжений о вас не дано.

— А куда мы пойдем? — спросил Голицын.

— Ко мне, — сказала жена. — У меня свой покойчик есть. И даже с банькой.

— Хотите в ледяной повариться? — предложил унтер.

— Сам парься крапивным веником. — Авдотья Ивановна взяла мужа за руку и повела в свою жизнь, которая отныне стала их общей.

Самое трудное было примириться с «дворцовой службой», как Авдотья Ивановна называла шутейное дело. Возвращение памяти имело свою оборотную сторону. Одно дело, когда режут по замороженному телу, другое — по живому. С первыми квасными опивками, угловидшими в лицо, что-то омертвело в Михаиле Алексеевиче, а потом он и вовсе утратил чувствительность. А как снести надругательство сейчас, когда он начинает дрожать от одной мысли об унижении на глазах жены?

— Да плюнь ты на них, — убеждала Авдотья Ивановна. — Подумаешь, беда! Если тебя на улице карета грязью окатит, ты сильно переживаешь? Злишься, конечно, но обтерся и дальше пошел. И нешто об этом помнишь? Ну, плеснул дурак квасом, так это он свиной вышел, а не ты.

Голицын молчал, тяжело сопя и наливаясь кровью. «Как бы удар не хватил!» — тревожилась Авдотья Ивановна. И опять принималась за свое:

— Считаю, что тебе такая служба выпала. Ты в пехоте был. Мало грязи месил и в грязи валялся?

— То другая грязь.

— Почему другая? Ты же ее не выбирал. Ты чистюля. А тебя в эту грязь дураки-командиры совали. Ты хотел сухонькой тропки и чистого ночлега. А пуль неприятельских, походной грязи, вшей, дурости начальства ты вовсе не хотел. И тоже небось орали, ругались, оскорбляли... Что я, армейских не знаю? Скажи, не так? Всюду одно и то же. Как к чему относиться. Тебе плеснули квасом в рожу, а ты: «С вашей милости колечко». Дали пинок: «Пожалуйте золотой». — Авдотья Ивановна осеклась.

Красное лицо Голицына стало лиловым, шея вытянулась, а кадык набух: ни дать, ни взять разгневанный индюк. «Эдак сразу вдовой станешь!» — мелькнуло испуганно.

— Я у них под ногами... Спасу мне нет. Но торговать честью я не стану.

«Честь! — подумала Авдотья Ивановна. — О какой чести бормочет этот битый, оплеванный, замордованный бедолага?.. А может, он прав? Его честь — терпеть и не брать подачек. Мы-то все, как собачонки на задних лап-

ках. Даже старик Волконский, когда суют, боится не взять. А моему Бирон раз колечко кинул, так тот и не нагнулся. Король Самоедский подобрал. Мы думали, не заметил, а вот оно что!»

— Не серчай, родимый. По глупости сболтнула. Всяк ведь на свой аршин... А ты не такой. Но почему ты зятю своему сдачи не дашь? Он тебя то толкнет, то ущипнет, то ножку подставит, а ты знай глаза лупишь.

— Я перед ним виноват, — опустил голову Голицын. — Соблазнил чужой верой.

— Кто в вере крепок, того не собьешь. А в шутах ему самое место. Что он, что король Самоедский, что господин Балакирев — ничем другим быть не могут да и не хотят. Вон Балакирев — куда его ни кидало, а все назад под дурацкий колпак спешил. Это как в итальянской комедии: все друг друга лупят хуже, чем при дворе, а нешто актеры обижаются? Такой у них талант.

— А у меня нет такого таланта, — пробормотал Голицын.

И все же что-то из рассуждений Авдотьи Ивановны запало ему в душу. Он старался контролировать свое поведение и предупредить враждебные выходы, насколько это было возможно. Когда просили квасу, он осведомлялся любезно: «Какого прикажете: хлебного, клюквенного, вишневого или грушевого?» Ему отвечали. Видимо, даже такого крошечного разговора достаточно, чтобы протянулась какая-то человеческая ниточка, и уже рука не подымалась для хамского жеста. А может, останавливало присутствие Бужениновой, что котенком вилась в ногах императрицы. Анна, к своему удивлению, обрадовалась, что Куколка уцелела в ледяной ночи. Она сама не ожидала, что так к ней привязана. Ласковость государыни все видели и боялись обозлить любимицу. Но были и такие, не до конца изгнившие, что совестились унижать мужа на глазах жены.

А зятя своего Михаил Алексеевич, памятуя наставления Авдотьи Ивановны, проучил. Однажды, когда тот по своему обыкновению ударил его исподтишка, Михаил Алексеевич отвесил ему такую затрепину, что Апраксин волчком пролетел всю приемную императрицы и расквасил нос о «монашку» карельской березы. Присутствующие расхохотались, захлопали в ладоши, но Апраксин впервые не испытал ни малейшей радости от того, что вызвал смех.

Другой раз, заметив, что Балакирев нацелился прыгнуть через него, Голицын услужливо пригнул широкую спину, крепко уперся руками в колени и позволил ловкому, но подутратившему былую гибкость суставов старому шуту совершить великолепный прыжок, вызвавший одобрение придворных. После чего спокойно отошел в сторону, не дав вовлечь себя в шутовскую чехарду.

Но ведь недаром говорят: в огне брода нет. Как ни берегайся, беда тебя сама найдет. И случилось это вскоре после того счастливого дня, когда Авдотья Ивановна объявила ему, что ждет ребенка. Голицын уже трижды становился отцом, но такого чувства, как сейчас, не испытывал. Подумаешь, какой фокус — сотворить ребенка, когда ты в расцвете лет, когда и жена у тебя молодая, и спокойствие на душе, и упругое сердце мерно и сильно гонит кровь по жилам. Но создать дитя, когда ты весь изломан, раздавлен, смят, когда ты пробыл в разлуке с самим собой и всем светом долгие годы, когда тебя шатало от голода не потому, что не было еды, а потому, что кусок не шел в горло, когда ты, казалось, навсегда выбыл из круга живых, — это великое чудо, знак божьего благоволения, знамение, которое еще надо разгадать. Значит, он для чего-то нужен богу, коли тот хочет привязать его к жизни такими прочными нитями.

В этом умиленном, философически-религиозном настроении Голицын отправился на службу. Он с непривычной легкостью предавался обычным пошлым глупостям, казавшимся столь ничтожными рядом с постигшей его благодатью. Как мог он придавать этой чепухе значение? Эти вельможи, сановники, фавориты — просто дети, большие, злые, капризные, глупые дети, не отвечающие за свои поступки. Он тешит взрослых детей. Вот он закудахта — смеются, вот козу соорил — смеются, вот упал — смеются, вот Бировов сын по ногам его кнутиком — смеются, аж закатываются, чтоб перед папашей милого сорванца выставиться. Смейтесь, бог с вами, а у меня сын будет, и ему уже не придется корячиться перед вами. Тут он приметил, как граф Левенвольде с досадой швырнул карты на стол и что-то резкое сказал своей белокурой партнерше красавице Лопухиной. Небось опять пробросился, а на нее валит. Играть он до страсти любит, а выдержки и умения большого нету. На проигрыш обычно не особо злится, он и вообще не злой. Деньги любит и делает их предостаточно в компании с другом своим Бировом. Положение Левенвольде при дворе почти

такое же прочное, как у самого герцога Курляндского (это он, Левенвольде, предупредил Анну о посланных ей кондичиях верховников), но амбиций неизмеримо меньше. Он не рвался к власти и к государственным постам, довольствуясь званием обергофмаршала, мог выполнить тонкое дипломатическое поручение, но к деятельности не стремился. Левенвольде хотел играть в карты, иметь много денег и любить женщин. В дальнейшем он еще сузил круг своих желаний: денег для картежной игры требовалось по-прежнему много, а женщины свелись к одной-единственной — очаровательной и своенравной Наталье Лопухиной. Он принадлежал к числу немногих, которые никогда не обижали Голицына, точнее, просто не замечали его, как и остальных шутов. И Голицын был благодарен ему за это. Приметив, что граф оглянулся на столик с напитками, видимо, желая промочить спекшееся от азарта и горечи горло, он быстро наполнил кружку и поднес Левенвольде.

Тот сделал несколько быстрых, жадных глотков. Но вместо того, чтобы успокоиться, насвежо как бы без помех, обозрел свою дурную игру и разозлился на себя. Но ведь себя не накажешь, а Лопухина была не такая дама, чтобы дважды снустить колкость. Перед ним маячило широкое, красное лицо — Левенвольде резким движением поднял кружку. И тут он увидел в странном неестественном приближении два коричневых глаза с глубокой тенью круглых зрачков, но то были не зрачки, а маленькие колодцы, и на дне их проглядывала такая мука, такая пронзающая молчаливая мольба, что Левенвольде передернуло от небывалого проникновения в чужую боль, на мгновение ставшую его собственной. Он сумел оборвать движение руки.

— Хороший квас... Благодарствую, — пробормотал он и отдал кружку.

Маленькую стенку между обергофмаршалом и шутом длиною в несколько ударов сердца заметили придворные и сделали естественный вывод: коли уж сам Левенвольде не решился окатить Квасника, значит, нынче такой расклад.

Пронесло на этот раз, но от судьбы не уйдешь. И потерпел Михаил Алексеевич от невольного творца своего счастья Артемия Волынского. После Ледяного дома и шествия народов звезда Волынского поднялась как никогда высоко, слишком высоко, чтобы удержаться в такой головокружительной выси. Он не был настоящим

политиком, умеющим различать в сегодняшнем успехе зерна завтрашнего поражения и ловким ходом обезоруживать врагов. В успехе он был невыносимо заносчив, в неудаче — малодушен и низок. Его энергия, нахрап, дерзость не превращались в решительность, как, скажем, у Меншикова или Миниха. Завоевав вновь расположение Анны и осадив немецкую партию, Волынский вернулся к бесцельным свободолюбивым разговорам в своем кружке, не слишком заботясь о конспирации. С другой стороны, он не пропускал случая показать Анне, что годится не только для устройства шутовских праздников, в его речах, обращенных к императрице, вновь зазвучала наставническая нота, раздражавшая Анну и бесившая Бирона. Тот в грош не ставил Волынского-реформатора, но боялся Волынского-интригана. Парламента России кабинет-министр, понятно, не даст, а ему, Бирону, нагадит. Вопрос о престолонаследнике, младенце Иоанне Антоновиче, был решен и закреплен соответствующим актом, регентша вроде бы тоже известна — мать его Анна Леопольдовна, но подписание этого указа государыня все откладывала, видя в нем как бы согласие на собственную смерть. Бирон надеялся, что Анна Иоанновна еще передумает и назначит регентом его, но добиться этого было ох как непросто! Препятствий множество: и сама потерявшая уверенность, раскисшая от болезни императрица, и пустая, сластолюбивая, но охочая до власти Анна Леопольдовна, и упрямый дурак ее муж герцог Брауншвейгский, и честолюбивый Миних, даже на милого друга Левенвольде нельзя положиться. Но все это люди без корней, а Волынский был русским, старинного рода, но связан и со служилым дворянством. Его необходимо убрать. И Бирон сказал Анне Иоанновне без всяких околочностей: или он, или я. Это решило участь Волынского. Без Бирона императрица не мыслила утекающей из нее жизни.

Как ни был Волынский зашорен верой в свое мнимое торжество, но и он почувствовал угрозу. Его ясные, точные доклады вдруг оказались не нужны, во дворец перестали приглашать. И тогда Волынский явился незваный, чтобы тайное сделать явным, чтобы дать врагам своим открытый бой. То был смелый до отчаянности шаг, но продиктован он был не отвагой, а полным отсутствием выдержки.

В покоях императрицы все было по-прежнему. Анна лежала на высоком ложе под ярко-голубым стеганым

одеялом, в чепце с лентами и розовом пеньюаре, подчеркивающим нездоровую желтизну лица и тени в подглазьях; Бирон у изголовья сосредоточенно орудовал ногтечисткой; Бенигна приготавлила какое-то лекарство, в ногах за ломберным столом Левенвольде, Лопухина и князь Куракин вели нескончаемый карточный спор, в дальнем углу рослый Миних — голова отрублена тенью от портьеры — о чем-то шептался с белокурой томной Анной Леопольдовной, начальник тайной канцелярии Ушаков медленно потягивал квас, ошаривая присутствующих тяжелыми оловянными глазами, а придворный Квасник стоял наготове, чтобы принять пустую кружку, шуты кочевряжились на ковре. Буженинова-Голицына, ластясь к опущенной руке Анны Иоанновны, скалила белые зубы. Педрилло, пританцовывал, пиликал на скрипочке, меж клеток с гортанно покрикивающими попугаями томился Тредиаковский со свернутой в трубочку рукописью, тщетно ожидая, что на него обратят внимание и он угостит присутствующих очередными виршами. Но поэта не замечали, как не замечали Волынского. Кабинет-министр отшвырнул подкатившегося с кривляниями Апраксина, вышел под взгляд государыни и низко поклонился. Анна посмотрела сквозь него, словно он был прозрачный, потом равнодушно отвернулась. Остальные продолжали заниматься своим делом. Бирон даже на мгновение не перестал полировать ногти.

Надо было что-то сказать, но горло схватило сушью. Волынский откашлялся и сипло бросил в никуда: «Квасу!»

Михаил Алексеевич поспешил исполнить приказание кабинет-министра и в избытке усердия налил ему вишневого квасу, хотя прекрасно знал, что тот признает только хлебный с хренком, об остальных отзывался презрительно: немцы в России все изгадили, даже квас.

Волынский жадно глотнул раз-другой, ощутил противную сладость, бешено глянул на застывшего в любезно-достойной позе Квасника и с силой плеснул ему в лицо темно-красной жидкостью. Будто кровью умылось широкое, сразу изгнавшее улыбку лицо. Но ярость Волынского не утихла.

— Ты чего мне суешь, дурак?

— Не гневайся, батюшко! Успокойся, родимец! — слышался тонкий голос.

Никто не заметил, как успела Буженинова сорваться с места, налить квасу и поднести Волынскому. Тот от-

вернулся от Квасника, увидел белую шапку пены, кружку в маленькой нечистой руке, непроизвольно потянулся за ней, но не успел взять. Кружка отодвинулась и вдруг стремительно приблизилась к его лицу — в глаза, в ноздри, в приоткрытый рот ударило коричневой жидкостью. Это было так дико, что лишь по громовому хохоту окружающих кабинет-министр понял, что случилось. Карлица отомстила за своего мужа и обдала его квасом. Схватить, разорвать ее, как кошку, а там пропади все пропадом! Он рванулся вперед — и будто о стену ударился. Между ним и карлицей вдвинулась большая нелепая фигура, с рожи стекали рубиновые капли. Ах, этот!.. Волинский двинул плечом, фигура не шелохнулась, а плечу стало больно. Волинский шагнул в сторону, но фигура вновь загородила ему путь. Ярость уже не ослепляла взора. Волинский видел массивное тело Квасника, который был одних лет с ним, в той же силе, но куда тяжелее. Такого не сдвинешь. А драться — смешно и унижительно. И еще он увидел, что к нему за спину заходит верста в генеральском мундире — Миних, а сбоку надвигается мертвоглазый и крепкий, как кленовый свиль, палач Ушаков. Кабинет-министр почти обрадовался голосу императрицы.

— Выйди, Артемий Петрович. Не срамись понапрасну.

Лучше удалиться по приказу государыни, чем ждать, чтобы тебя вышвырнули вон. Он повернулся и, задев локтем Миниха, быстро прошел к дверям. «Это конец!» — подумал Волинский.

Он не ошибся. Поэтому и сошла с рук Авдотье Ивановне ее выходка, а Голицыну — непозволительное заступничество. Волинский был обречен на мучительную смерть.

Уже на следующий день он стоял перед Ушаковым в застенке Тайной канцелярии. Кабинет-министра взяли, не потрудившись придумать ему сколь-нибудь важной вины. Даже бывалый Ушаков был озадачен, что должен допрашивать такого серьезного человека из-за сущих пустяков: избиения Академии секретаря Тредиаковского и посылки государыне книги зело бесстыдного политика Никколо Макиавелли с «тайными намерениями». Разве из этого состряпаешь дело? По счастью, спохватился камердинер Волинского и донес, что его хозяин с товарищами готовил заговор, злоумышляя против императрицы и, что всего хуже, оскорблял ее поносными словами. Сделали

обыск, нашли записки Волынского, наброски проекта об улучшении государственного устройства — перепевы мыслей «верховника» Дмитрия Голицына, взяли Еропкина и Хрущова (Татищев уже сидел по делу о казнокрадстве) — работа закипела.

До этого у Волынского оставалась надежда выкрутиться: неужели с него всерьез спросится за оплеушины бездарному виршеплету или посылку сочинения знаменитого флорентийца? Но когда Ушаков, как-то сыто зевая, сказал: «Хрен с ним, с Тредиаковским, хрен с ним, с Макиавеллем, ты мне о заговоре своем расскажи», — кабинет-министр понял, что его песенка снесена. И сразу потерял достоинство.

Он обретет его лишь на эшафоте.

В России всегда путали слово и дело. Люди говорили ничего не значащие слова, за которыми не стояло никаких злокозненных намерений, а их наказывали беспощадно, зверски. Мягких наказаний не ведали. Самыми легкими были сечение кнутом, вырывание ноздрей, ссылка в Сибирь. Так расправлялись с ворами, грабителями, браконьерами.

С болтунами обходились круче. Любое слово, сказанное против монаршей особы, тут же объявлялось заговором, за это сажали на кол, колесовали, четверговали — с предварительным урезанием грешного языка. Более гуманных приговоров не ведали, лишь монаршья воля могла смягчить участь осужденного: кол заменить колесованием, колесование — четвергованием, а последнее — простым отсечением головы. Слова, которыми обменивался Волынский со своими друзьями, слова, которые он небрежно предавал бумаге («горазд был писать»), слова, которые не перешли даже в подобие дела, были расцены как свершившееся злодеяние. Доброе сердце императрицы облегчило участь несчастных «словесников»: Еропкина и Хрущова просто обезглавили, Волынскому по урезанию языка отрубили вывихнутую на дыбе руку, после чего палач отсек ему голову. Трупы казненных свезли в Самсоньевскую церковь и по отпевании бросили в общую могилу.

Так судьба Михаила Голицына еще раз переклестнулась с историей. Но мученический исход Волынского несколько не облегчил его собственных мук.

Анна Иоанновна умирала, но и это не внушало радужных надежд. Как еще распорядится шутами Анна

Леопольдовна или, вернее, Бирон? Задумываясь над своей жизнью, Голицын не раз спрашивал себя, что легче: нести крест в идиотическом беспамятстве или в нынешнем все сознающем страхе? Теперь ему казалось, что раньше унижали не его, а кого-то, кто имел лишь внешнее сходство с ним, душа не чувствовала боли, затихла. Но душа его оттаяла в Ледяном доме, стала живой и мучающейся. Пусть теперь оскорбляют реже и не так зло, но во сто крат больнее, потому что он переживает не только за себя, но и за жену, а главное, за того, кто появится на свет. Голицын не мог избавиться от чувства, что тычки и пинки отражаются на зреющем в утробе Авдотьи Ивановны младенце. Его воображению рисовалось, что крошечное новое существо явится в мир обезображенным, в кровоподтеках, синяках и даже не со смятой, как у него самого, а с переломанной душой. Авдотья Ивановна своим поступком с Вольнским спасла не только его сердце, но и будущее дитя. Спасла раз — и он сумел ей помочь, но в других случаях она бессильна. А что ждет их при жестоком и ненавидящем все русское Бироне? Голицын тосковал, но все-таки никогда бы не променял нынешнюю тревогу на прежнее скотское спокойствие. Ведь случались вечера, целые дни вдвоем с Авдотьей Ивановной — императрица теперь редко кого допускала к себе, кроме врачей и Бирона, — эти часы и дни были такими счастливыми, что стоило вытерпеть даже адовы муки.

Они уже не боялись ворошить былое: у Авдотьи Ивановны его, в сущности, не было, так, маета нужды и зависимости, но Голицыну было что вспомнить и о чем порассказать. Странно, но даже прекрасное воспоминание прежних лет: Италия, смуглая горячая Лючия — не вызывало в нем страдания. Беспокойства за нее и за почти стершуюся в памяти дочь он тоже не испытывал: виноградарь-корчмарь не даст им погибнуть. А любви былой так и вовсе не помнил, Авдотья Ивановна стала его Италией, стала всем, что он когда-то любил. И еще одно властно привязывало Голицына к крошке-жене: с тех первых дней она никогда не говорила о будущем, не строила воздушных замков, держала его и себя в сегодняшнем, но ему казалось, что она провидит для них что-то хорошее впереди. И это помогало справляться со всеми страхами и сохранять уравновешенность в той дьяволиаде, которую он теперь все чаще называл службой. В этом тоже была заслуга Авдотьи Ивановны. Слово не обозначение предмета и явления, а сама

суть. Назови «службой» пытку души, и ты все выдержишь.

Авдотья Ивановна благополучно разрешилась от бремени младенцем мужского пола через месяц после блаженные Ее Императорского Величества кончины и чрез неделю после трагикомического падения регента Бирона. На этом событии остановимся, поскольку здесь в последний раз судьбу Михаила Алексеевича решили исторические потрясения.

Бирон все-таки вырвал из рук умирающей Анны указ о назначении его регентом. Освободив народ от четырехмесячного подушного обложения, Бирон считал, что достаточно укрепил свою популярность в подлом сословии, и занялся серьезным делом: уничтожением недовольных. Усилили караулы и разъезды, столицу наводнили наушниками и доносчиками. В крамольники мог угодить каждый из-за неосторожно сказанного слова, по лживому навету, по излишнему усердию шишов, по смутному подозрению испугавшегося собственного возвышения временщика. Бирону следовало бы пересажать всю Россию, кроме членов своей фамилии, поскольку недовольны были все. Даже немецкая партия, даже друг любезный Левенвольде. Никто не верил в способность курляндского выскочки, корыстолюбца и лошадиника управлять великим государством и никому не хотелось делить участи обреченного на падение диктатора.

Серьезные заботы не помешали герцогу Курляндскому распорядиться шутейной командой. По окончании траура шутам надлежало вернуться к исполнению обычных обязанностей. Все должно оставаться таким же, как при жизни великой императрицы, этим регент лишней раз доказывал свою беспредельную преданность усопшей благодетельнице. Значит, опять чехарда, тычки, драки, сидение в лукошках, квохтанье, поднесение кваса, дрожь в коленках...

И тут сказал свое слово другой честолюбец, долгие годы находившийся на вторых ролях и терпеливо выживавший своего часа. Сейчас настало время для военного инженера, генерал-аншефа, победителя турок и шведов графа Миниха. Он не был человеком идеи, вроде верховника Голицына, не был таким неумным честолюбцем, как Волынский, грезившим о ступенях трона; не похож был Миних и на Бирона, для которого власть означала прежде всего богатство.

Он был человеком действия. Непрерывное дело и не было необходимо его редкостно энергичной, сильной и неутомимой натуре. Придворные интриги, глупость и алчность временщиков, безразличие наследников Петра к целям великого государя не давали ему развернуться. Миниху все это надоело, он хотел большого дела и славы.

Он не был мастером интриги и заговора и совершил свой переворот с обезоруживающей простотой. Получив испуганное согласие Анны Леопольдовны принять регентство, подполковник лейб-гвардии Преображенского полка Миних взял роту гвардейцев, арестовал Бирона, выдернув его из супружеской постели, и провозгласил регентшей мать малолетнего царя Ивана Антоновича. Арест Бирона сопровождался гадко-смешными подробностями. Герцог забился под кровать, а извлеченный оттуда стал кусаться, царапаться и лягаться. Его связали, закатали в ковер, рот заткнули платком и в таком виде сволокли в карету. Бенингна тоже сопротивлялась, тонкий пеньюар разорвался в клочья под грубыми руками гвардейцев, обнажив изобильные розовые тела. Так позорно завершился один из худших периодов многострадальной русской истории.

Переворот Миниха имел следствием роспуск шутейной команды. Анна Леопольдовна, сама достаточно потерпевшаяся от грубого и вздорного нрава тетки — ее ругали и били по щекам, как нерадивую фрейлину, — не находила удовольствия в унижении других людей. Она разогнала болтушек и уволила с придворной службы всех шутов, щедро их наградив, Голицыну была возмещена стоимость конфискованного имения.

— Ну, и я тебя отпускаю, батюшко, — сказала Авдотья Ивановна, когда благодетельствованный регентшей муж вернулся домой.

— Куда? — не понял Голицын.

— В твою новую настоящую жизнь.

— А разве у нас не настоящая жизнь? — с улыбкой спросил Голицын.

— Нет, вся наша жизнь — в шутку. Сам знаешь. С шутки началось, шутя продолжалось. А что не отверг меня, за это тебе спасибо. Я тебе не ровня и всегда это знала. Сейчас ты вольный человек, в своем достоинстве и при средствах. Наш брак вовсе не считается, раз ты другой веры.

— Чего ты?.. О чем ты?.. — бормотал растерявшийся Голицын.

— Пора тебе начать жить, как по родовитости твоей положено, а чужой злобой отнято. Ты же Голицын! И как тебя ни мытарили, как ни гнули, а сломать не смогли. Человек ты свежий, крепкий, в полном здравии. Будет у тебя и дом, и жена-ровня, и детишки. А за меня не переживай, нашего богатства и на двоих хватит.

Последних слов ее Голицын уже не слышал. Он наконец-то понял, что все это всерьез, что Авдотья Ивановна приняла решение, а он хорошо знал, как тверда она и неуступчива, если что задумала. Голицын не умел спорить, бороться, убеждать, он никогда ни в чем не мог поставить на своем, все распоряжались им, как хотели: цари, министры, фавориты, военачальники, даже итальянский виноторговец и его дочка, да что там — огрызки человеческие из шутейной команды, а он умел только покоряться, молча потуплять голову. Голицын зарыдал, затопал ногами в бессильном отчаянии, стал колотить себя кулаками в грудь.

Авдотья Ивановна испугалась, что он опять выпадет из ума. Она видела его в беде, в нечеловеческом унижении, видела битым и растоптанным, видела раз за свадебным столом слезу на его щеке, но никогда не видела и даже не представляла плачущим. Этого от него никто не мог добиться.

Она должна была дать Голицыну свободу выбора. Он мог остаться с ней из благодарности или по слабости, а Авдотья Ивановна этого не хотела. Ведь она любила. Но слишком велико их нынешнее неравенство. Какая она жена князю — Буженинова, божья нелепица, камчатская оборванка рядом с Гедиминовичем, статным пожилым красавцем, от которого за версту несет родовитостью.

— Милый, да что ты?.. Что с тобой?.. Ну, не хочешь, никуда я не уйду. Только перестань, родимый. Никуда не денется твоя Авдошка. Вот я, всегда с тобой, пока не прогонишь... Да шучу я... Твоя я, твоя, понял?.. Давай утрем слезки.

— Ты правду говоришь?

— Конечно, правду. — Она протянула ему фуляр, и князь трубно высморкался...

Через месяц к черному ходу дворцового флигеля бы подана поместительная карета; в нее сели высокий представительный барин в шубе с бобрами и маленькая

барынька в соболях! Туда же забралась дородная молодница с грудным ребенком в атласном конверте. Карета тронулась, за ней потянулись три возка с поклажей. Князь и княгиня Голицыны отправились в свое имение в подмосковном селе Братовщине, приобретенном через доверенного человека.

По тем еще скромным временам имение Голицына могло считаться образцовым: усадьба в отменном состоянии, за мужиками недомок не числится, а сам господский дом — табакерка. В елизаветинский век богатые и знатные фамилии начнут возводить в своих сельских вотчинах каменные дворцы с колоннами, приглашая для их строительства лучших петербургских и московских зодчих, разбивать французские и английские сады, украшая их мраморными статуями, городить искусственные гроты, балюстрады, фонтаны. Но в ту патриархальную пору даже знаменитое Архангельское верховника Голицына было бесконечно далеко от того роскошного вида, который ему впоследствии придадут новые владельцы имения, баснословно богатые Юсуповы. Дома состоятельных помещиков тогда мало чем отличались от деревенских изб, разве что были попросторнее и окошки стеклянные, а не слюдяные, да крыльцо позатейливей. Крыша та же дранка, обстановка — грубо сколоченные столы, лавки вдоль стен, два-три городских стульца, сундуки, пол застлан рядом.

А у Голицыных дом хоть деревянный, да оштукатуренный, двухэтажный, под железом, крыльцо с белыми колоннами; в первом этаже имелось порядочное зальце с изразцовыми печами, несколькими старыми почерневшими картинами на стенах и огромным паникадиллом. На втором этаже находился кабинет с дубовым письменным столом, прямоспинным креслом, диваном и книжным шкафом, рядом — спальня и детская. К дому примыкали флигеля, там были комнаты для гостей, поварня, кладовые, контора, чуланы для дворни, баня. За домом растилался громадный сад, его прорезали липовые аллеи, был и чистый пруд с карасями, и клумба против парадного входа.

Голицыну дом полюбился, но Авдотья Ивановна не разделяла его восторга. «Нынче и этот сгодится, — говорила она, — а там, конечно, ты по-другому отстроишься». Эти слова пугали Голицына каким-то темным намеком, но, утомившись страдать, он сразу прекращал разговор.

Поместью принадлежало большое село и пяток не слишком захудалых деревень. Михаил Алексеевич явил недюжинный административный талант и в короткое время крепко и выгодно устроил хозяйство в своих владениях. Кого оставил на барщине, кого перевел на оброк, а кого отпустил и в город на заработки. Он прогнал старого управителя, честного, но бессмысленно придирчивого немца, которого крестьяне ненавидели и всячески старались обмануть. На его место Голицын поставил приказчика из местных, сметливого молодца, взяв с него клятву, что воровать тот будет ни много ни мало, а средственно, чтобы барину не захотелось сдать его в солдаты. И еще ему велено было не прижимать крестьян без нужды, не то пойдет к ним на правож. Сметливому молодцу равно не хотелось ни под ружье, ни под розги земляков, его стараниями имение обеспечивало Голицыных и прибыль давало, крестьяне тоже не жаловались.

Вскоре Авдотья Ивановна подарила Голицыну еще одного сына. На радостях Михаил Алексеевич закатил пир, пригласив всех окрестных помещиков. Это был народ мелкотный, хотя и не вовсе бедный. Но жили бирюками, иные сидни даже в Москве не бывали, не то что в Петербурге. Помещики были ошеломлены великолепием дома Голицыных и оказанным им приемом. Непривычный к роли хозяина и боящийся уронить себя чрезмерной обходительностью, которую могли счесть заискиванием, Михаил Алексеевич надувался, как индюк, был важен до высокомерия и необычайно понравился гостям. Таким они представляли себе настоящего вельможу, приближенного суровой Анны Иоанновны, о царствовании которой ходило столько темных слухов. И, напротив, радужная, веселая Авдотья Ивановна разочаровала помещиков своей простотой и неавантажностью; разве такая жена положена князю Голицыну!

В свою очередь, Авдотья Ивановна невысоко оценила гостей, вспомнив о них много времени спустя и, как поначалу показалось Михаилу Алексеевичу, ни с того ни с сего.

— До чего же соседи наши дремучи, как только шерстью не поросли!

Они сидели на лавочке возле клумбы и отмахивались от комарья.

— Люди как люди, — равнодушно отозвался Голицын.

— Нет, не такая тебе компания требуется.

— Что ты все меня возвышаешь? Кто я такой? — рассердился Михаил Алексеевич, которому не понравилось словечко «тебе», будто разъединяющее их. Уже не в первый раз Авдотья Ивановна проводила черту между ним и собой.

— Надо, чтобы к тебе из Москвы, из подмосковных вотчин господа приезжали, — мимо его слов продолжала Авдотья Ивановна. — И они поедут, когда прослышат про твои хоромы.

— Какие еще хоромы? Что ты несешь, Дунюшка? Нешто я Шереметев или Куракин? Да и зачем они нам?

— Молчи! — приказала Авдотья Ивановна. — Чем ты хуже их?

— Не привык я к пышности. А главное, денег нет на такое мотовство.

— Есть, Миша, — очень серьезно сказала Авдотья Ивановна. — Я же говорила тебе, что мы богаты.

Голицыну вспомнилось, что как-то в первые дни их супружества она обмолвилась о каком-то богатстве, но не до того ему тогда было, а после и вовсе выпало из головы. Ну, что она, сердешная, в богатстве смыслит? Думает небось, что незаможная деревенька, пожалованная на свадьбу Анной Иоанновной, и разные ее подачки: перстеньки, брошки, браслетки — невесть какое состояние. Откуда ей знать, что такое настоящее богатство?

— Ты не веришь?

Авдотья Ивановна прошла в дом и вернулась с увесистой шкатулкой, которую, хоть крепенькая была, несла с трудом на плече. Она открыла шкатулку, и у Голицына заслезились глаза — такой оттуда ударил блеск и сверк.

— Господи, откуда?

— А это приданое. Ты пьяненький был, не заметил, поди, как нас одаривали. Матушка императрица пример подала. Остальным куда деваться?

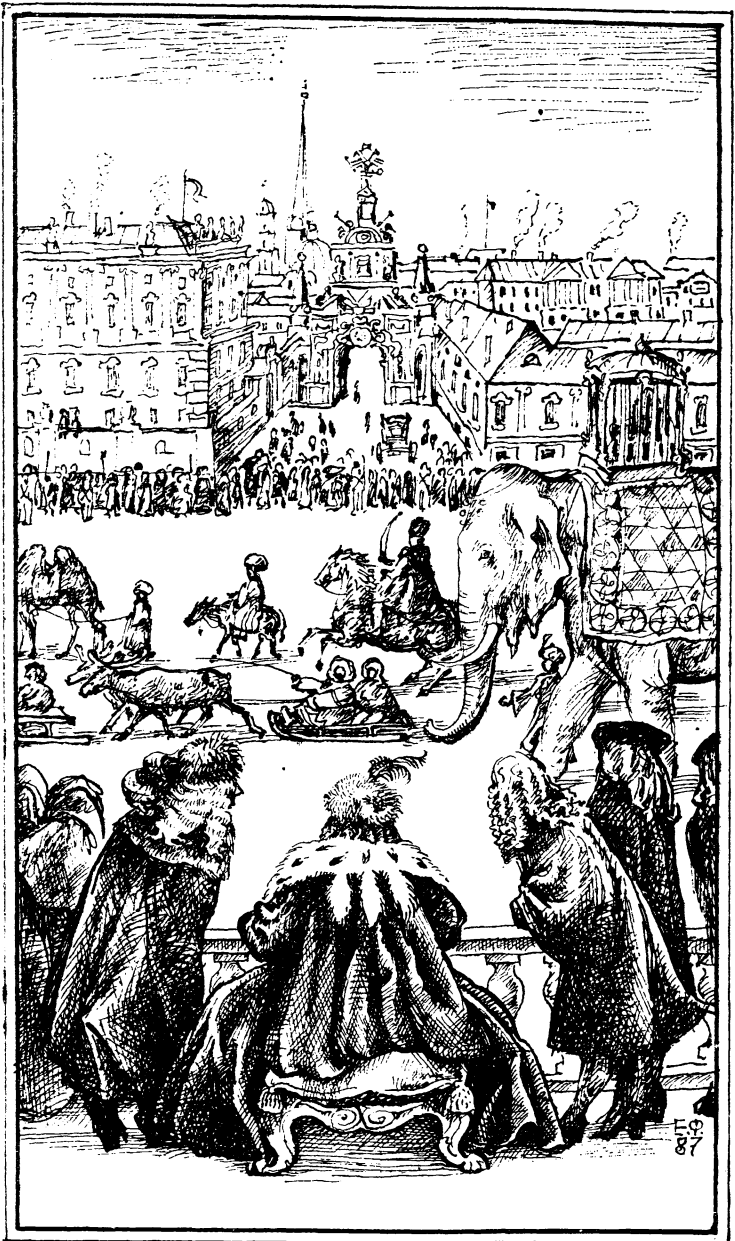
Авдотья Ивановна заметила его брезгливое, отстраняющее движение.

— Эти дары не в короб, а в ледяную могилу кидали. — И добавила с тихой угрозой: — Не смей ими гробовать, чистоплюй...

— О чем ты? — испугался Голицын. — Нешто я что говорю? Я ничего не говорю.

— То-то!.. Вот он, твой дворец, Михаил Алексеевич!

— Почему «твой»? — вскинулся Голицын, в такие



минуты робость его оставляла. — Нет ничего моего и не будет, только наше!

Она помотала головой.

— Это для твоей новой жизни. Меня уже не будет.

— Куда же ты денешься? — вымученно улыбнулся Голицын.

— Куда все деваются, туда и я. Выкормлю поскребыша своего и уберусь... Я все от жизни получила... Нешто могла я мечтать о таком?.. А ты должен еще одну жизнь прожить, самую лучшую. Был господь наш Иисус на кресте, а стал в славе. И ты должен восстать в славе. Так я решила, и не спорь со мной. Не раздражай больного человека.

— Чем же ты больна, Дунюшка? Мы врачей вызовем, хочешь, в Италию поедем?

— Вот моя Италия. — Она обмахнула пространство рукой. — А врач меня осматривал. Помнишь, я на грудь жаловалась, говорила, что придется кормилицу брать?.. Ничего у меня с грудью не было, а сидела во мне моя болезнь. И врач это подтвердил. От нее не лечатся и не выздоравливают... Прекрати! Я еще поживу здесь... А мой наказ ты исполнишь. Поклянись, что исполнишь!.. Смотри, а то я тебе являться стану...

— Являйся, Дунюшка! — попросил Голицын. — Все легче...

Авдотья Ивановна поверила: слово муж сдержит, чего бы ему ни стоило. Этого она и добивалась. Пришлось сказать о своей неизлечимой болезни, чтобы связать его обязательством, а то, не ровен час, руки на себя наложит. Она знала, как Голицын ее любит, и ничего не боялась. Его любовь сбережет ее в каком-то высшем тайном смысле, назвать который она не умела.

А Михаил Алексеевич после этого разговора вроде бы успокоился. Он не плакал больше и хорошо спал, прижимая к себе маленькое тело жены, так что ей становилось трудно дышать, но Авдотья Ивановна никогда не освобождалась из его рук. На посторонний взгляд с ним было все в порядке, правда, приказчика удивляло, что вникавший прежде во все хозяйственные дела Михаил Алексеевич перестал интересоваться хозяйством, хотя подступала уборочная страда. Ушлый молодец не попался на удочку внезапного доверия и еще умерил воровство. Конечно, приказчику и в голову не могло прийти, что барину все безразлично: хоть вовсе не убирайте, не молотите, не сейте. Он хотел каждую минуту быть с Ав-

дотьей Ивановной и не тратиться ни на что другое. Он таскался за нею как тень, а стояло ей, все слабеющей, прилечь, как он тут же подваливался к ее боку. Голицын почти не страдал, она это знала. С ним сделалось что-то похожее на прежнее выпадение памяти. Только тогда Михаил Алексеевич полностью освободился от себя, а сейчас сумел прогнать страшное. Он так сосредоточился на ней живой, что не осталось места для образа утраты. Да ведь нельзя просто забыть о том, что ежеминутно напоминает о себе, это вне человеческой воли; свое благое беспamięтство Михаил Алексеевич оплатил частичной утратой личности. В нем не было сейчас ни любви к детям, ни радости от дома, от прогулок, ни беспокойства о хозяйстве, ни интереса к чему-либо творящемуся на свете, он дышал и не мог надышаться одной Авдотьей Ивановной. «И не надышишься, милый, — нежно и жалеюще думала Авдотья Ивановна. — А все-таки большое облегчение — уметь так прятаться от страшного». Сама же она жила, как раньше, не изменяла своим привычкам, спокойно и твердо ждала близкого конца, но думать старалась только о хорошем, что ей выпало в жизни. Утешалась она и мыслями о будущем величии Михаила Алексеевича.

Хорошая собака никогда не умирает на глазах хозяина, а находит такое укромье, где ее невозможно отыскать. Она не хочет удручать зрелищем своего конца того, кого любила всем беззаветно преданным сердцем. Видимо, этот древний животный инстинкт заговорил в Авдотье Ивановне, по корням близкой природе и почве.

В один из ничем не примечательных мягких пушистых зимних дней она исчезла. И как могло это случиться? Михаил Алексеевич ни на шаг не отпускал жену от себя — да ведь случилось! Усыпила она его, что ли, или заколдовала, но вдруг он как-то странно вздрогнул, будто со сна, и очнулся в пустоте. Голицын заметался, забегал по дому, стал обшаривать каморы, двигать мебель, хлопать дверцами шкафов, потом спохватился и кликнул людей. Длинной цепью двинулись они через сад к лесу. Голицын приглядывался к следам, их было множество — маленькие опущенные следы животных и птиц. Но ведь и следки Авдотьи Ивановны были не больше.

Они обыскали сад и примыкающую к нему березовую рощу, окликая Авдотью Ивановну и аукаясь — тщет-

по! — и углубились в еловый бор; здесь снег был так глубок, что люди проваливались по пояс — нешто тут пройти такой крошке? — но Михаил Алексеевич заворожено ломил вперед, и дворе нечего не оставалось, как следовать за ним.

Нашел ее сам Михаил Алексеевич, хотя не признал в первое мгновение, приняв меховое пушистое существо в развилке соснового сука, пригнувшегося под снежным гнетом, за зверька вроде кунички. А это была Авдотья Ивановна в шубке и меховой шапочке, уже замерзшая, одеревеневшая. Голицын взял ее на руки, она ничего не весила. Только сейчас увидел он, как мало ее осталось, как сморщилось, усохло в детский кулачок желтое лицо с провалами забитых снегом глазниц. Михаил Алексеевич видел ее, такую важную и значительную для него, преувеличивающим оком, а сейчас зрение его опустело, и Авдотья Ивановна словно съежилась, уже мертвая предстала перед ним в настоящем своем облике.

Он понес ее на вытянутых руках и весь путь до дома по-волчьи выл. Нашлись добрые души, взявшие на себя похороны и все сопряженные с ними хлопоты: Михаил Алексеевич ни на что не годился...

Потом началось долгое, тяжелое опаматование.

Постепенно Голицын выполнил все наказы Авдотьи Ивановны. Детям нанял воспитателей. Построил каменный дом — бело-синий, с колоннами и лепниной. Обставил его английской мебелью. Женился. Жену взял из семьи почтенной, но не родовитой. Ее страстью было наряжаться, но долгое время всем великолепием парижских нарядов любовались лишь дремучие очи окрестных помещиков. А потом, как предсказывала Авдотья Ивановна, слухи о роскоши и хлебосольстве голицынского дома достигли Москвы, и среди его гостей появилось немало чуть замшелой, но весьма родовитой знати. У новой княгини Голицыной был один несомненный дар: она умела принять любого гостя и любое число гостей, сохраняя вид величественного благоволения, неизвестно почему осенившее внучку петровского барабанщика, выслужившего офицерский чин и потомственное дворянство. Ей очень повезло, поскольку ничего другого, кроме представительности, от нее не требовалось.

Когда князь и княгиня Голицыны выходили на прогулку, оба большие, статные, нарядные и торжественные,

он, опираясь на трость, она — на его твердую руку, дворовые бросали дела, чтобы полюбоваться этим величественным и никогда не надоедавшим зрелищем.

Соседние помещики боготворили князя. Он устраивал великолепные охоты с борзыми и гончаками, хотя сам никогда не брал ружья в руки, поил и кормил до отвала и даже перепившему, наскандалившему гостю не делал никакой укоризны, а заботливо отправлял домой на своих лошадях. У него был великолепный погреб, и, наверное, во всей России не нашлось бы таких квасов, как у Голицына. Из чего только их не готовили! Помимо всех известных квасов, у него подавались шипучие хмельные квасы из заморских фруктов, выращиваемых в оранжереях, с примесью каких-то трав. И была традиция: каждому новому гостю князь с задумчивой полуулыбкой собственноручно подносил кружку кваса, чуть наклонив крупную голову под великолепно расчесанным париком, и говорил душевно: «Извольте, сударь, откусать». С поклоном принимал опорожненную кружку и протягивал платок, чтобы гость отер пену с усов. Говорили, что императрица Анна пила квас только из его рук, и на эту привилегию никто не смел посягать. Что правда, то правда.

А вообще правды о нем не знали, да и не стремились знать. Каждое историческое событие становится сперва легендой (еще при жизни современного ему поколения), потом предметом научного изучения, и окончательный образ обретает себя вновь в легенде. Конечно, случались люди, утверждавшие, что блистательный вельможа был шутом при дворе Анны Иоанновны, но это не производило на гостей Голицына обидного для князя впечатления. Бироновщина была овеяна какой-то мистической жутью, пережить то время, да еще вблизи самого Курляндского сатаны, было уже подвигом. А как ты назывался, как числился, какие муки терпел в страшное огнепальное время, стоит ли разбираться? Лучше почтительно молчать перед страстями, которые по божьей милости не выпали тебе на долю.

Сам Голицын никогда не говорил о прошлом и умел безмолвно прекращать эти разговоры в своем присутствии, что еще увеличивало общее к нему уважение. Не хотел этот человек ни лавров, ни сострадания, ни восхищения, ни содрогания, он имел мужество существовать в нынешнем своем образе, не озираясь на прошедшее.

Никто не задавался вопросом: счастлив ли хозяин го-

стершимых пенатов — это казалось само собой разумеющимся. Если он и претерпел гонения в прошлом, то настоящее все ему возместило.

Сам Михаил Алексеевич был иного мнения на этот счет. Он видел свое счастье в минувшем, когда, закончив шутовскую службу, возвращался к Авдотье Ивановне, срывал парик с потной головы, скидывал пыльный кафтан, и они вдвоем шли париться в ее домовую баньку, и он подавал пару хлебным квасом.

С годами его меланхолия, не переходившая во что-то болезненное, тягостное для окружающих, стала усиливаться. Однажды Голицын задумался об этом и сделал выводы. Он завел шутов. Кормил и содержал их отменно, но был строговат.